

Джеймс
ХИЛТОН



ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРИЗОНТ

ДЛЯ КОГО ОТКРЫВАЮТСЯ БРАТА
ШАНГРИ-ЛА?

Джеймс Хилтон

«Потерянный

горизонт»

Предисловие переводчика

Дело было весной 1942 года. Невесть откуда взявшийся американский бомбардировщик запросил посадку во Владивостоке. Приземлившись, летчики объяснили, что они сбросили бомбы на Токио и едва-едва, почти с пустыми баками, дотянули до российского Приморья. В войне на Тихом океане СССР был тогда нейтральной стороной, и с американцами поступили как положено — их интернировали.

Что за связь между этим случаем и книгой, которую вы держите в руках? В общем-то никакой.

А может, есть все-таки некая перекличка слов и обстоятельств, событий и мыслей? Ну, вроде того, что американские летчики тоже «потеряли горизонт»? Либо, заглядывая уже в первые страницы романа Хилтона, не обратить ли внимание, что и там речь идет о злочлечениях, выпадающих порой на долю авиаторов? Эти вопросы нагромождены здесь, разумеется, нарочно, «для приманки». Скоро они отпадут, туман рассеется. Но прежде читателям хотелось бы кое-что подсказать — или предложить.

Вот что. Роман Хилтона из тех, что создают настроение. Он пробуждает добрые чувства. Он наводит на размышления — порой очень серьезные и не всегда грустные. И он куда-то манит, к чему-то зовет. Так вот, если, прочитав книгу, вы почувствуете, что душа рвется в неведомые дали, жаждет устремиться к глубинам таинственного, откликнетесь на ее порыв. Сделать это можно сравнительно простым и привлекательным

способом: попытаться выяснить судьбу американских летчиков, попавших тогда во Владивосток. У нас наверняка сохранились где-нибудь соответствующие бумаги, а в США, надо думать, все давным-давно освещено в открытой печати. И тем не менее почему не покопаться в забытой истории? Не разыщутся ли находки, которые по нынешним временам окажутся ценнейшими открытиями.

И еще это послужит напоминанием, что пережитое в прошлых поколениях не всегда утрачивает интерес и смысл для тех, кто пришел им на смену. Тем же, собственно, оправдано и сегодняшнее русское издание «Потерянного горизонта» — книги, которая появилась почти шестьдесят лет назад и сразу покорила многие умы и души западного, во всяком случае, англосаксонского мира.

Вашему вниманию предлагается знаменитое, по-своему выдающееся произведение. Правда, серьезные исследователи английской литературы 30-х годов о Хилтоне, как правило, даже не упоминают. Основания у них такие же, по каким в курсы истории русской литературы XIX века часто не попадает Боборыкин. Но, как известно, не кто-нибудь, а именно Боборыкин подарил миру слово, понятие «интеллигенция». Сродни этому и заслуга Хилтона. Его «Потерянный горизонт», пусть и не признаваемый за жемчужину художественной прозы, обогатил словарь человеческой цивилизации, дал людям понятие, соединившее в себе их светлые надежды, и неясные мечты, и горькие сомнения.

Джеймс Хилтон (1900–1954) написал множество романов. Пробовал себя и в драматургии. Но только «Потерянный горизонт», созданный за шесть недель

весной 1933 года, принес ему широкую известность. За эту книгу он был удостоен премии Хоторндена, ежегодно присуждаемой английскому писателю, не достигшему сорокалетнего возраста. Среди других лауреатов в разные годы были Ивлин Во, Грэм Грин, Алан Силлитоу. Их читают и поныне. А Хилтон забыт.

Забыт и великий фильм «Потерянный горизонт», который в 1937 году снял в Америке режиссер Фрэнк Капра. Успех картины был так велик, что легко оправдались беспримерные по тем временам затраты на ее создание — два с половиной миллиона долларов. Достались творцам фильма и два «Оскара». В 1952 году последовала еще одна попытка представить роман Хилтона на экране. На сей раз неудачная. И в 1973 году был поставлен мюзикл по мотивам романа, долго не сходящий с экрана.

Но к тому времени очарование «Потерянного горизонта», выражаемое одним словом, «Шангри-ла», уже жило самостоятельной жизнью, оторвавшейся и от книжной, и от кинематографической первоосновы. Вошло, например, в оборот выражение «взять билет до Шангри-ла». Оно могло означать просто сборы в отпуск, освобождающий от повседневных забот. А могло быть и циничным выкриком больного сознания, жаждущего погрузиться в наркотический кайф. Во всяком случае, достаточно стало произнести «Шангри-ла», чтобы излить тоску по счастливой, осмысленной жизни, заявить о неприятии мерзостей этого заблудшего мира.

Не обошлось и без стараний придать выдумке Хилтона ощутимые черты действительности. Призрак начал воплощаться в дереве и камне. Дальше всех продвинулся, наверное, президент Рузвельт. С началом

войны яхта «Потомак», на которой он обычно отдыхал от хлопот Белого дома, стала вожделенной мишенью для противника. И тогда в отрогах Аппалачей появился загородный приют президента США. Сегодня это всем известный Кэмп-Дэвид. Но так его назвал Эйзенхауэр по имени своего внука. А Рузвельт, не лишенный склонности к лиризму и романтике, окрестил свое тихое прибежище «Шангри-ла».

Отсюда как раз и протягивается тонкая, непрочная, но все-таки ниточка связи между романом Хилтона и американским самолетом, залетевшим во Владивосток.

После катастрофы в Перл-Харборе минуло несколько месяцев, а США все не могли нанести японцам ответного удара. Президент не находил себе покоя. Наконец явилась идея, за которую Рузвельт ухватился обеими руками. Планировалось использовать авианосцы как базу для воздушного налета на Японию. Хитрость же состояла в том, что кораблям надлежало оставаться за 500 миль от Японских островов. Отсюда самолеты могли добраться до цели. Но на обратный путь горючего бы не хватило. Тем и хорош был план, что он готовил полную неожиданность для японцев, которые, конечно же, не допускали, что американцы станут вести себя наподобие камикадзе. А те и не собирались. Сбросив бомбы, самолеты должны были проследовать чуть дальше и найти себе посадочные площадки на материке, предположительно в Китае. Так все и произошло. Во Владивосток попал единственный «заблудившийся» «Б-25».

Успех был огромный, не столько, правда, военный, сколько политический. Корреспонденты со всего мира осаждали Рузвельта вопросами, недоумевали, откуда

могла появиться над Японией американская воздушная армада.

— Как откуда? — отвечал президент. — У нас же есть база в Гималаях. Называется «Шангри-ла».

Свою шутку он впервые опробовал на помощнике-секретаре Уильяме Хассете. Тот тоже поначалу не мог взять в толк, как можно было устроить эту бомбардировку при существовавших ограничениях в радиусе действий «Б-25». А услышав от Рузвельта насчет базы «Шангри-ла», только заморгал глазами. Явно не понял намека, не оценил юмора.

Описывая эту беседу президента с помощником, знающие авторы не упускают случая отметить: Хассет не читал Хилтона. Могли бы, кстати, добавить, что он и фильма «Потерянный горизонт» не видел. И более того, он никогда не задумывался, откуда взялось и что означало название загородной резиденции, где он сам постоянно бывал и где утром 19 апреля 1942 года происходил этот разговор.

Так или иначе, одно не подлежит сомнению: и в 30-е годы Хилтона читали не все, тем более не все им упивались. В этом отношении разница между Рузвельтом и Хассетом очень показательна. Один, хотя и президент, находил время, чтобы наслаждаться чудесной выдумкой. Другой, всего лишь «аппаратчик», был слишком занят, чтобы уделять внимание таким пустякам.

У нас тоже не все, наверное, поддадутся обаянию «Потерянного горизонта». Но вообще-то друзья этой книги в нашей стране появились давно, и их немало. Среди тех, кто читает по-английски, роман Хилтона уже десятилетиями ходит по рукам. Теперь, с выходом русского издания, круг его читателей и почитателей

расширится. И не исключено, что у нас-то он найдет самую благодарную аудиторию, а его литературная и общественная судьба обретет новое дыхание. Мы, евразийцы, в каком-то смысле гораздо лучше, чем европейцы, чем американцы, подготовлены к восприятию завораживающих видений, которые помогают мечтать о безмятежной, блаженной жизни.

Впрочем, приглашая к чтению этой книги, не мешает отметить, что она способна доставить удовольствие любителям детективов, фантастики и приключенческой литературы.

Пролог

Сигары угасали, и мы чувствовали, что надвигается разочарование, обычно подстерегающее старых школьных товарищей, которые, встретившись взрослыми, обнаруживают вопреки всем ожиданиям, как мало между ними общего. Разерфорд писал романы. Уайленд служил секретарем посольства. Он как раз и устроил нам ужин в Темплхофе^[1], и сделал это, как я угадывает, без особого удовольствия, хотя всем своим видом выказывал спокойное благодушие, приличествующее дипломату в подобных случаях.

Мы были тремя англичанами-холостяками в столице чужого государства. Кроме самого этого обстоятельства, ничто на свете не могло бы, по-видимому, свести нас вместе, и в душе я не преминул отметить, что легкое высокомерие, отличавшее Уайленда еще в школе, отнюдь не исчезло ни с годами, нив результате награждения его боевым орденом. Разерфорд нравился мне больше. Приятно было смотреть на зрелого мужчину, выросшего из тощего, робкого ребенка, которого я некогда попеременно то притеснял, то опекал. Можно было догадаться, что среди нас троих у него самые высокие доходы и самая интересная жизнь. Такое предположение связывало меня и Уайленда по крайней мере одним общим чувством — завистью.

Встреча наша тем не менее вовсе не была скучной. Удовольствие доставляла сама возможность любоваться громадными самолетами «Люфтганзы», прибывавшими со всех концов Центральной Европы. И в сумерках,

¹ Темплхоф — аэропорт Берлина. — *Здесь и далее примеч. пер.*

разгоняемых огнями аэропорта, нам открывалось воистину пышное театральное зрелище.

Приземлился английский самолет, и командир экипажа в полном летном обмундировании, проходя мимо нашего стола, поприветствовал не узнавшего его поначалу Уайленда. Потом все перезнакомились, и летчика пригласили присоединиться к нашему обществу. Этого обаятельного, веселого парня звали Сандерс. Извиняющимся тоном Уайленд высказал несколько соображений насчет того, как трудно узнать человека, если он облачен в комбинезон да еще голова его упрятана в шлем. В ответ Сандерс рассмеялся и сказал:

— Ну разумеется. Мне это хорошо известно. Не забываете, я ведь был в Баскуле.^[2]

Уайленд тоже улыбнулся, но как-то натянуто, и разговор тут же ушел в сторону.

Присутствие Сандерса оживило наше застолье, и мы дружно навалились на пиво. Около десяти Уайленд заметил знакомого за соседним столом и отошел с ним поговорить. Разерфорд воспользовался этим и обратился к Сандерсу:

— Кстати, вы упомянули Баскул. Я немного знаю это место. А что, собственно, там случилось?

Сандерс улыбнулся, явно смущенный:

— Да так, кое-какие переживания по службе. — Но он был из тех молодых людей, что не умеют долго противостоять соблазну поделиться сокровенным. — В

общем, так. Какой-то афганец или африди^[3], или черт знает, кто еще, угнал одну из наших колымаг. Можете себе представить, как нам за это досталось. Кошмар, да и только. Угонщик набросился на пилота, выкинул его из кабины, напялил его шлем, уселся за штурвал — и никто ничего даже не заметил. Просигналил механикам, все как положено. Милейшим образом взмыл и небо и исчез. Загвоздка в том, что больше его никогда не видели.

Разерфорд заинтересовался:

— Когда это произошло?

— Ну, примерно год назад. В мае тридцать первого. Мы вывозили гражданское население из Баскула в Пешавар. Из-за мятежа. Вы, наверное, помните это. Порядка там немножко не хватало, иначе, я думаю, ничего подобного бы не произошло. Но ведь случилось, и это по-своему подтверждает, что за одежкой можно не разглядеть человека.

Разерфорд не унимался в расспросах:

— Как мне представляется, у вас там были такие самолеты, что каждому требовался целый экипаж. Один человек просто не справился бы. Разве не так?

— Верно. На обычных транспортных самолетах летали командами. Но это была особая машина. Ее сделали специально для какого-то махараджи, такая роскошная техническая штучка. Индийская топографическая служба пользовалась ею для полетов над Кашмиром на очень больших высотах.

— И вы говорите, в Пешаваре он так и не появился?

³ Африди — самоназвание пуштунского племени.

— Нет, не появился. И вообще, как мы ни старались, обнаружить его не смогли нигде. Это-то и странно. Возможно, он рассчитывал добраться до своего племени где-нибудь в горах, а потом потребовать выкуп за пассажиров. Думаю, однако, что все они погибли. Там, вдоль Границы^[4], полно таких мест, где вы можете разбиться и никто никогда вас не найдет.

— Да, я знаю эту местность. Сколько было пассажиров?

— Четверо. Трое мужчин и женщина, монахиня-миссионерка.

— Имя Конвэй вам ничего не говорит? Не было ли такого среди мужчин?

Сандерс всколыхнулся, пораженный.

— Вот это да! Действительно — Конвэй Великолепный. Вы его знаете?

— Мы с ним однокашники, — сдержанно сказал Разерфорд. Он говорил правду, но чувствовалось, что его слова будут истолкованы не так, как ему хотелось бы.

— По всему, что я слышал о нем в Баскуле, это замечательный человек, — продолжал Сандерс.

Разерфорд кивнул:

— Да, вне всякого сомнения... Но невероятно, совершенно невероятно... — Заметно было, что ему стоило усилий собрать разбежавшиеся мысли. Наконец он произнес: — В газетах об этом не было ни слова, и я бы не пропустил. Что это означает?

⁴ Граница — принятое среди британских колониальных чиновников обозначение территории Индии, прилегавшей к Афганистану.

Сандерс вдруг почувствовал себя неуютно и, как мне показалось, готов был покраснеть.

— Честно говоря, — ответил он, — я выболтал больше, чем надо. Хотя, может, теперь это не имеет значения. Сейчас об этом не стали бы молчать даже в церквях и тем более на базарах. А тогда дело, понимаете ли, замяли, то есть запретили рассказывать, как и что произошло. Больно неприглядная получалась картина. Правительство просто отметило, что одна машина пропала. Имена были названы. И всё. Такие сообщения не очень-то волнуют широкую публику.

Тут как раз вернулся Уайленд, и Сандерс заговорил с ним так, что это прозвучало полупризнанием допущенного им промаха.

— Послушайте, Уайленд, мы с ребятами толкуем о Конвэе Великолепном. Боюсь, я несколько подраспустил узел, затянутый в Баскуле. Надеюсь, вы не придаете этому значения?

Пару мгновений Уайленд пребывал в суровом молчании. Было очевидно, что он старался примирить вежливость к соотечественнику с требовательными правилами своей службы. Наконец он изрек:

— Не могу не выразить сожаления, что этот случай пытаются превратить в анекдот. Я всегда полагал, что вы, летчики, люди надежные и не станете развлекаться пересказом вздорных баек для малолетних. — Отчитав таким образом молодого человека, он с несравненно большей учтивостью обратился к Разерфорду: — Конечно, для тебя секретов тут никаких нет. Но вообще, как ты, я уверен, понимаешь, события на Границе

приходится иногда покрывать пеленой некоторой таинственности.

— Вместе с тем, — сухо заметил Разерфорд, — мы все подвержены удивительному недугу — желанию знать правду.

— Ее никогда и не скрывали от тех, у кого это желание было мало-мальски обоснованным. Я находился тогда в Пешаваре и могу тебя заверить, что так оно и было. Кстати, ты хорошо знал Конвэя? Потом, после школы, я имею в виду.

— Немного общался с ним в Оксфорде, и несколько случайных встреч позднее. А ты имел с ним дело?

— Когда работал в Анкаре. Там мы пару раз виделись.

— Что ты о нем подумал тогда?

— Ну, судя по всему, он был человек с мозгами, но какой-то расслабленный.

Разерфорд улыбнулся:

— С мозгами — это бесспорно. В университете он делал блестящую карьеру. Пока не грянула война. Всегда загребной, восходящая звезда команды, сплошные призы и за это, и за то, и за все прочее. К тому же я никогда не встречал лучшего пианиста. Если не говорить о профессионалах, разумеется. Поразительно разносторонне одаренный человек. Так и видишь его среди кандидатов в премьер-министры. Но после Оксфорда о нем, надо признать, что-то не было слышно. Война вторглась в его судьбу. Она, как я понимаю, круто изменила его жизнь.

— Он был ранен, снаряд разорвался рядом, но, в общем, обошлось, — сказал Уайленд. — Воевал очень неплохо, во Франции, награжден за храбрость. Потом вроде бы вернулся в Оксфорд, на время, прочитать курс. В двадцать первом, насколько мне известно, отправился на Восток. С его знанием восточных языков место он получил без особых проволочек. У него даже было несколько должностей.

Улыбка Разерфорда стала еще шире.

— Ну, теперь все ясно. История навеки сохранит тайну, и никто не дознается, какие блестящие способности были потрачены на занудную дешифровку глупейших бумаг, рассылаемых министерством иностранных дел, а также на устройство чаепитий для интриганов, собирающихся в миссии.

— Он был на консульской, а не на дипломатической службе, — небрежно заметил Уайленд.

Он явно не склонен был заводиться. Когда же Разерфорд, подразнив его еще немного, поднялся с намерением покинуть нас, он не стал возражать. Впрочем, было уже поздно, и я сказал, что, пожалуй, пора расходиться. Пока мы прощались, Уайленд сохранял все тот же вид молчаливо страдающей опоры государственного здания. Зато Сандерс светился сердечностью и выражал надежду на новые встречи.

Утром, в невероятную рань, мне предстояло сесть в проходивший транзитом поезд, и, пока мы ждали такси, Разерфорд предложил скоротать оставшиеся часы у него в отеле. Он сказал, что занятый им номер весьма располагает к беседе. Я согласился, что это будет замечательно, и он заключил:

— Прекрасно. Мы поговорим о Конвэе, если ты не против, если тебе еще не надоело.

Я ответил, что, мол, нисколько не возражаю, хотя знаком с ним был очень мало.

— В школе мы практически не общались, а потом я никогда его не встречал. Я был новичком в классе, и у него не было никаких причин вообще обращать на меня внимание. Но однажды он проявил ко мне какую-то чрезвычайную доброту. Пустяк, конечно, но я запомнил.

Разерфорд согласно кивнул:

— Он мне тоже очень нравился. Хотя, оглядываясь назад, поражаешься, до чего же мало мы общались.

И тут мы оба умолкли. Возникла несколько неловкая тишина, означавшая, что оба мы думаем о человеке, который в жизни каждого из нас занимал гораздо большее место, чем можно было бы судить по мимолетности наших с ним встреч. Впоследствии я обнаружил, что и другие, кому доводилось хотя бы поверхностно и недолго общаться с Конвэем, всегда с живостью вспоминали об этом знакомстве.

В юности он, несомненно, обращал на себя внимание. И для меня, знавшего его в возрасте, когда ищут героев, воспоминания о нем сохраняют отчетливо романтическую окраску. Он был высок, очень хорош собой и не только верховодил во всех наших играх, но и постоянно завладевал всеми мыслимыми школьными наградами. Однажды расчувствовавшийся классный руководитель заявил, что все достижения Конвэя представляют собой нечто великолепное. Отсюда и пошло его прозвище. И он сохранил за собой этот титул. Едва ли подобное удалось бы кому-нибудь еще.

Помню, в День ораторского искусства он произнес речь по-гречески. Он был звездой школьного театра. Он нес в себе нечто от елизаветинской эпохи — живую непринужденность, привлекательную внешность, яркое сочетание физической энергии и подвижности ума. В нем было что-то от Филиппа Сиднея.^[5] Теперь наша цивилизация нечасто рождает таких людей.

Нечто в этом духе я сказал Разерфорду, и он согласился:

— Да, верно. Зато мы нашли слово, осуждающее таких людей. Мы называем их дилетантами. И некоторые вроде Уайленда именно так, наверное, и думают о Конвэе. На Уайленда мне наплевать. Не терплю таких типов. Сплошная правильность и болезненное самомнение. И мозги наставника-надзирателя. Заметил, как он изъясняется? «Всегда полагал, что вы люди надежные, не станете развлекаться пересказом вздорных баек». Будто вся наша треклятая империя — это пятый класс школы Святого Доминика! Да и вообще мне всегда были противны эти дипломаты с их привычками белых саибов.

Молча мы проехали несколько кварталов.

— И все же, — заговорил он опять, — хорошо, что эта встреча состоялась. Для меня было удачей узнать мнение Сандерса насчет случившегося в Баскуле. Я уже слышал об этом раньше, но не очень верил. Тогда это было частью гораздо более фантастической истории, в которую невозможно поверить. Или почти невозможно. Там был лишь один намек на правду. А теперь уже два

⁵ Филипп Сидней (1554–1586) — писатель, воин, царедворец. Традиционно почитается как олицетворение рыцарства, элегантности, обаяния.

намека. Надеюсь, ты догадываешься, что я не страдаю избытком легковерия. Я немало попутешествовал и знаю, что странные вещи в мире случаются. Приходится с ними считаться, если ты их сам видел, но не обязательно, если кто-то тебе о них рассказал. И все же... — Видимо, он вдруг сообразил, что его речь до меня не доходит, и осекся. — Ладно, одно только ясно, Уайленда я в это дело посвящать не собираюсь. Это все равно что предлагать эпическую поэму для публикации в воскресном журнале для домохозяек. Лучше попытаю счастья на тебе.

— Не преувеличиваешь ли достоинства моей особы? — спросил я на всякий случай.

— Твоя книга заставляет меня думать, что я не ошибаюсь.

Я не говорил ему, что издал весьма специальную работу (в конце концов, не все же читают труды по неврологии), и был приятно удивлен, что Разерфорд по крайней мере слышал о ней. Сказал ему об этом и получил в ответ:

— Видишь ли, я заинтересовался твоей книгой потому, что Конвэй одно время страдал потерей памяти.

Тут мы как раз подъехали к отелю. Разерфорд взял ключ у портье, и пока мы поднимались на пятый этаж в лифте, он произнес:

— Но все это слова, слова. А главное в том, что Конвэй жив. По крайней мере был жив несколько месяцев назад.

Подъем в лифте создает такую степень стесненности в пространстве и времени, что отозваться

на сообщение Разерфорда я смог лишь несколько секунд спустя, уже в коридоре.

— Что ты говоришь? Откуда ты знаешь?

И, вставляя ключ в замок своей двери, он ответил:

— Потому что плыл вместе с ним на японском теплоходе из Шанхая в Гонолулу в ноябре прошлого года.

Продолжил он не раньше, чем мы расположились в креслах с бокалами и сигарами.

— Итак, прошлой осенью я отдыхал в Китае. То есть путешествовал, как это обычно делаю. Конвэя я не видел годы. Мы не переписывались. Не сказал бы, что я часто о нем вспоминал. Хотя его лицо — одно из немногих, что встают передо мной сразу же, как только захочу вызвать их в памяти. Так вот, я побывал у своего друга в Ханькоу и возвращался поездом в Пекин.

В вагоне я отважился завязать разговор с милейшей попутчицей — матерью-настоятельницей французских сестер-монахинь, обосновавшихся поблизости от Синьяна.^[6] Она как раз направлялась к себе в обитель. Мое поверхностное знакомство с французским языком показалось ей, видимо, достаточным, чтобы с удовольствием поболтать о своей работе и вообще о том о сем. Признаться, к занятиям миссионеров я обычно отношусь без всякого почтения, но готов согласиться, что французские католики — это особая статья. По крайней

⁶ Синьян — город к северу от Ханькоу (современное название — Ухань); у Хилтона название выдуманного города, произвольно образованное «на китайский лад», нечаянно совпало с именем городка, действительно существующего и расположенного очень далеко от места, где могли бы происходить описываемые события.

мере они работают не разгибаясь и не корчат из себя старших офицеров в мире, разделенном на чины и ранги. Однако это так, к слову. А суть в том, что эта дама, толкуя о монастырской больнице в Синьяне, упомянула о пациенте, страдавшем лихорадкой. Он поступил несколько недель назад. С виду европеец, но без бумаг и в таком состоянии, что не мог даже объяснить, кто он и откуда. Одет был по-местному, притом в бедняцкие лохмотья. Болезнь скрутила его очень сильно.

Он свободно говорил по-китайски и довольно неплохо по-французски. К тому же, как заверяла меня собеседница, прежде чем обнаружилась национальность приютивших его монахинь, он обращался к ним на изысканном английском. Я сказал, что все это кажется мне удивительным до неправдоподобия, и даже слегка пожурил мою попутчицу: трудно, мол, судить, насколько изысканна речь, звучащая на языке, которого не знаешь. Мы дружно посмеялись на эту тему, весело поговорили еще о каких-то пустяках, и дело кончилось ее приглашением посетить монастырь, если мне когда-нибудь случится быть по соседству.

Тогда, конечно, мне это показалось не более вероятным, чем очутиться на вершине Эвереста. И, прощаясь с нею в Синьяне, я был полон искренних сожалений, что наше мимолетное знакомство на том и завершилось. События, однако, повернулись так, что совсем немного времени спустя я снова оказался в Синьяне. Отъехали-то мы всего милю или две, как что-то стряслось с локомотивом и он с большим трудом дотолкал нас обратно к станции. Тут выяснилось, что запасного паровоза ждать не менее двенадцати часов. На китайских дорогах такое не в диковинку. Надо было

как-то прожить полдня, и я решил поймать добрую даму на слове — отправился в ее обитель.

Приняли меня очень тепло, хотя, естественно, не без удивления. Кто сам не католик, тому, я полагаю, нелегко понять, как это им, католикам, без труда удается сочетать свою официальную строгость с неофициальной широтой взглядов. Замысловато выражаюсь, да? Ну, не важно. Во всяком случае, люди в этой обители оказались расчудесным обществом. Тут же приготовили поесть, и молодой врач-китаец подсел ко мне, чтобы разделить трапезу. Заодно он развлекал меня беседой на забавной смеси французского и английского. Потом он и мать-настоятельница повели меня осматривать монастырскую больницу — предмет их гордости. Я представился писателем, и они открыто и чистосердечно наслаждались мыслью, что, может быть, появятся на страницах моей книги.

Мы шли мимо коек, и доктор рассказывал, кто чем болен. Всюду царила безукоризненная чистота, и все вокруг доказывало, что больница находится в прекрасных руках. Я совсем забыл о таинственном пациенте, изысканно говорящем по-английски. Но тут вдруг мать-настоятельница объявила, что мы подходим к его постели. Я увидел только его затылок; больной, видимо, спал. Мне предложили обратиться к нему по-английски. «Здравствуйте», — сказал я. Не ахти как оригинально, но это первое слово, какое пришло в голову. Больной тут же повернулся и ответил: «Здравствуйте». Да, действительно, это был выговор хорошо образованного человека. Но я не успел удивиться, так как сразу узнал его, несмотря на бороду,

несмотря на то что он вообще сильно изменился за те годы, которые мы не виделись. Это был Конвэй.

Я не сомневался, что передо мной именно он, и все же, если бы я взялся тогда размышлять, как он тут оказался, то не исключено, пришел бы к выводу, что, мол, нет, невозможно, это не он. Но тогда я поддался первому впечатлению. Я обратился к нему по имени, назвал себя, и хотя не заметил в его взгляде узнавания, я был уверен, что не ошибся. Я и раньше замечал ту же едва уловимую игру мышц на его лице, и на меня смотрели те же самые глаза, о которых некогда в Бейллиоле^[7] мы говорили, что в них больше кембриджской голубизны, чем оксфордской синевы. Да и вообще это был человек, которого с другим не спутаешь, — раз его увидишь и запомнишь навсегда.

Конечно, и доктор, и мать-настоятельница пришли в крайнее возбуждение. Я сказал им, что знаю этого человека, он англичанин и мой личный друг, а если не узнает меня, то не иначе как потому, что совершенно лишился памяти. Они согласились, и мы занялись долгим обсуждением этого поразительного случая. И у них не находилось никаких приемлемых догадок о том, каким образом Конвэй мог попасть в Синьян в подобном состоянии.

Короче, я провел там еще пару недель в надежде как-нибудь пробудить его память. Ничего не вышло. Физически он выздоравливал, и мы много говорили. Когда я, например, объяснял, кто он такой и кто я, он покорно соглашался, не возражал. Настроение у него

⁷ Бейллиол — один из старейших (основан в 1263 г.) и самых известных колледжей Оксфордского университета.

было хорошее, даже радостное, и мое общество, судя по всему, доставляло ему удовольствие. На мое предложение увезти его домой он просто ответил, что не имеет ничего против. Смущало именно отсутствие определенных желаний.

Ну, я взялся за устройство нашего отъезда. Договорился с одним консульским чиновником в Ханькоу, тот помог насчет паспорта и всего прочего, что обычно превращается в утомительные заботы. К тому же я считал, что в интересах Конвэя избежать огласки, скрыть всю эту историю от прессы. И рад сказать, что это удалось. Для газетчиков, понятное дело, тут был бы лакомый кусочек.

Н-да. Из Китая мы выбрались самым естественным образом. По Янцзы спустились до Нанкина, потом поездом в Шанхай. Там как раз отчаливал японский лайнер, направлявшийся в Сан-Франциско. Пришлось здорово поспешить, но успели.

— Слушай, ты очень много для него сделал, — заметил я.

Разерфорд не возражал.

— Не думаю, что я стал бы так же выкладываться ради кого другого, — сказал он. — Но в этом человеке есть что-то такое, да и всегда было, не объяснишь, — ну, в общем, хочется для него сделать все, что можешь.

— Да, — согласился я. — Он обладал каким-то особым очарованием. Настолько привлекательный человек, что одно воспоминание о нем доставляет удовольствие. Хотя, конечно, в моей памяти он остается школьником в спортивном костюме. Сейчас побежит играть в крикет.

— Жаль, ты не знал его в Оксфорде. Там это был блестящий парень — других слов не подберешь. Ходили разговоры, что после войны он изменился. Я тоже так думаю. Но не могу поверить, чтобы при его способностях он оказался в стороне от великих дел. А Конвэй был создан именно для великого. Мы же оба его знали, и согласись, я не преувеличиваю, когда говорю, что он оставляет неизгладимое впечатление. Даже во время этой китайской встречи, при том что память его была пуста и прожитые им годы покрылись мраком тайны, он сохранил в себе все ту же притягательную силу. — Разерфорд задумчиво помолчал, потом продолжил: — Как ты догадываешься, на корабле мы заново стали друзьями. Я пересказал ему все известное мне о его прошлом. Он слушал с таким вниманием, что это выглядело нелепо. Он ясно помнил каждую мелочь после своего появления в Синьяне. И заметь — это должно представлять для тебя профессиональный интерес, — он не забыл язык, вернее, языки. Он сообщил мне, например, что в его жизни была, вероятно, какая-то связь с Индией, поскольку он мог говорить на хиндустани.

В Йокогаме лайнер заполнился пассажирами, и среди них оказался Сивекинг^[8], пианист, направлявшийся на гастроли в Штаты. Ему определили место за нашим столом, и время от времени они с Конвэем заводили разговор по-немецки. Можешь отсюда заключить, что внешне он выглядел здоровым, нормальным человеком. Он был в полном порядке, если не считать некоторых

⁸ Сивекинг — выдуманный персонаж. У читателя 30-х годов возникала ассоциация со знаменитым тогда немецким пианистом Вальтером Гизекингом (1895–1956), который впервые обратил на себя внимание исполнением четырех баллад Шопена.

пробелов в памяти, которые никак не обнаруживались в повседневном общении с окружающими.

Наше плавание продолжалось уже несколько суток, когда как-то вечером удалось уговорить Сивекинга угостить пассажиров фортепианным концертом, и мы с Конвэем пошли послушать. Играл он, конечно, хорошо — Брамс, Скарлатти и много-много Шопена. Глянув разок-другой на Конвэя, я заключил, что он наслаждается игрой, и это показалось мне вполне естественным ввиду его собственного музыкального прошлого.

По завершении намеченной программы Сивекинг играл еще и еще для окруживших его особо горячих поклонников музыки. Все они, как мне показалось, высоко оценивали мастерство исполнителя. Снова звучал Шопен, любимый его композитор. Наконец он встал и направился к двери, уверенный, что достаточно потрудился для слушателей, очарованных его игрой. И тут случилось нечто неожиданное. Конвэй сел за фортепиано и исполнил в быстром темпе очень милую, неизвестную мне пьеску. Сивекинг обернулся и, волнуясь, стал допытываться, что это такое. После долгого и довольно неловкого молчания Конвэй сознался, что он не знает. Сивекинг закричал, что такого не может быть, и разволновался еще больше. Конвэй старался вспомнить. Видно было, какого огромного физического и умственного напряжения это стоит ему. Наконец он заявил, что играл этюд Шопена.

Мне самому показалось это ошибкой, и потому я не удивился, когда Сивекинг стал решительно возражать. Но Конвэй вдруг рассердился, и всерьез, чем совсем потряс меня, поскольку до этого он вообще не склонен был

проявлять каких-либо эмоций. «Мой дорогой друг, — назидательно сказал Сивекинг, — я знаю всего Шопена и уверяю вас, что не он автор сыгранного вами этюда. Правда, мог бы быть его автором, поскольку это вполне в его стиле, но вот не писал он такого — и все тут. Бьюсь об заклад, этой вещи нет ни в одном издании его сочинений». В ответ Конвэй заявил следующее: «Да-да, теперь я припоминаю: этюд никогда не публиковался. Меня с ним познакомил человек, бывший учеником Шопена... И вот еще одна вещь, которую я от него узнал. Тоже не публиковалась».

Продолжая, Разерфорд внимательно следил за выражением моего лица.

— Не знаю, какой из тебя музыкант, но даже если никакой, все равно ты, наверное, сможешь хотя бы частично представить себе волнение, охватившее Сивекинга и меня самого, когда Конвэй опять заиграл. Для меня, конечно, это был неожиданный прорыв в его недавнее прошлое, первый ключ к тайне. Сивекинга занимала, естественно, чисто музыкальная загадка, довольно-таки сложная, с чем ты тотчас же согласишься, если я тебе напомню, что Шопен умер в 1849 году.

Все это в известном смысле выходит за пределы постижимого. Поэтому нелишне будет добавить, что там присутствовало не меньше дюжины свидетелей, включая и авторитетного профессора из Калифорнийского университета. Конечно, легко было сказать, что объяснения Конвэя несостоятельны с хронологической точки зрения или почти несостоятельны, но как быть с самой музыкой? Ну, пусть объяснения Конвэя неправда, все равно ведь остается вопрос: а что это за музыка? Сивекинг утверждал: будь эти два этюда опубликованы,

они в течение полугода непременно вошли бы в репертуар каждого способного исполнителя. Может, и преувеличивал, но именно так высоко оценивал он эти композиции. Сколько мы тогда ни спорили — ничего не решили. Конвэй стоял на своем.

Заметив у него признаки усталости, я забеспокоился и поспешил утащить его в постель. Напоследок мы еще успели договориться насчет записи на фонографе. Сивекинг сказал, что, как только прибудем в Америку, он все устроит, а Конвэй пообещал обязательно сыграть перед микрофоном. Я часто сейчас думаю: очень жалко, с любой точки зрения жалко, что ему не привелось сдержать слово.

Разерфорд посмотрел на часы, как бы давая понять: его рассказ, в сущности, окончен, и у меня остается еще уйма времени до поезда.

— Дело в том, что тогда же ночью, после концерта, к нему вернулась память. Мы отправились спать. Как только я лег, он вошел в мою каюту и объявил об этом. Лицо его было очень строгим и выражало то, что называется безысходной печалью, мировой скорбью, полным отчуждением, уходом в потустороннее. Как говорят немцы, Wehmut, или Weltschmerz^[9], или еще что-то в этом роде.

Он сказал, что теперь может вспомнить обо всем. Память начала возвращаться к нему во время игры Сивекинга, сперва, правда, только отрывками. Он долго сидел на краю моей постели, и я предоставил ему вести рассказ так, как ему хотелось. Я сказал, что рад возвращению его памяти, но готов и посочувствовать,

⁹ Wehmut, Weltschmerz — грусть, мировая скорбь (нем.).

если, по его мнению, этого лучше бы не случилось. Он поглядел на меня и сказал фразу, которую я всегда буду почитать за чудеснейшую похвалу в свой адрес: «Ты, Разерфорд, слава Богу, не обделен даром воображения».

Потом я встал, оделся, убедил его сделать то же самое, и мы вышли на палубу. Была тихая, звездная и очень теплая ночь. Неподвижное палевое море напоминало сгущенное молоко. Когда б не стук корабельных машин, все это могло сойти за прогулку на лужайке. Я не прерывал сбивчивую речь Конвэя, не мешал ему вопросами. Ближе к рассвету в его рассказе появились четкость и последовательность, а когда пришло время завтрака, он поставил точку.

«Точка» вовсе не означает, что больше ему нечего было поведать. Наоборот, уже в течение следующих суток он заполнил многие важные пробелы в своем повествовании. Он очень страдал, не мог спать, и наш разговор почти не прерывался. Следующей ночью лайнер прибывал в Гонолулу. Вечером в моей каюте мы опустошили по паре бокалов, около десяти он ушел, и с тех пор я никогда больше его не видел.

— Ты хочешь сказать... — начат я, и перед моим мысленным взором возникла картина спокойного, расчетливого самоубийства, которому мне случилось быть свидетелем на почтовом пароходе по дороге из Холихеда в Кингстон.^[10]

Разерфорд рассмеялся:

¹⁰ Холихед — порт на острове у западного побережья Уэльса. Кингстон — название многих, в том числе портовых городов мира. Возможно, имеется в виду административный центр Ямайки.

— Да нет же, Господи! Не из того-он теста сделан. Он просто сбежал от меня. Сойти на берег не составляло труда, но вот потом ускользнуть от организованного, конечно же, мною розыска было непросто. Позднее я узнал, что ему удалось завербоваться матросом на судно, тогда же отправившееся с грузом бананов на Фиджи.

— Как ты это выяснил?

— Естественнейшим образом. Три месяца спустя он сам написал мне. Письмо пришло из Бангкока вместе с чеком на покрытие расходов, в которые он меня ввел. Он благодарил меня и сообщал, что чувствует себя очень хорошо. Писал также, что собирается в долгое путешествие — на северо-запад. И это все.

— Куда, собственно?

— Полный туман, не так ли? Много разных мест находится к северо-западу от Бангкока. Коль на то пошло, и Берлин мог быть одним из них.

Разерфорд замолчал, подлил вина в наши бокалы. В истории, которую он рассказал, многое было неясно. Или он нарочно изложил ее таким образом, чтобы оставить меня в недоумении. Я не знал, что думать. Эпизод с музыкой, загадочный сам по себе, не вызывал у меня такого любопытства, как тайна, связанная с появлением Конвэя в монастырской больнице. Когда я сказал об этом Разерфорду, он ответил, что на самом-то деле речь идет о двух концах одной и той же веревочки.

— Ну ладно, — спросил я, — как же, в конце концов, он попал в Синьян? Это-то, надеюсь, он тебе объяснил ночью на корабле.

— Да, кое-что об этом он рассказал. И теперь, когда ты уже знаешь так много, нелепо было бы с моей

стороны утаивать остальное. Беда только, что тут начинается куда более долгая история и, чтобы поведать ее хотя бы в общих чертах, просто нет времени — на поезд опоздаешь. К тому же — так уж напучилось — есть более удобный способ справиться с этой задачей.

Мне немного совестно раскрывать мелкие секреты моего недостойного ремесла, но признаюсь, размышляя над рассказом Конвэя, я почувствовал, что он служит мне богатейшим источником вдохновения. Еще на лайнере после наших бесед я делал кое-какие записи, чтобы не забыть подробности. Потом я мысленно постоянно возвращался к услышанному. Появилось желание связать воедино и то, что успел записать, и то, что мог вспомнить. От себя ничего не изобретал, в рассказе его ничего не изменял. Материал я получил от него вполне подробный, ведь говорит он прекрасно и от природы наделен способностью легко передавать собеседнику свои мысли и чувства. Да еще, пока писал, меня не покидало ощущение, что я, кажется, начинаю понимать его.

Тут он поднялся, взял портфель, достал из него кипу машинописных листов.

— В общем, держи, и можешь думать об этом все, что хочешь.

— Иными словами, ты отнюдь не ждешь, что я поверю всему написанному здесь.

— Ну, не так строго. Но имей в виду, если поверишь, то это будет, как у Тертуллиана.^[11] Помнишь? «Верую, потому что невозможно». Может быть, это

¹¹ Тертуллиан — христианский богослов и философ (II–III века н. э.), видевший смысл веры именно в том, что она не может быть обоснована разумом.

вполне приемлемый довод. В любом случае дай мне знать, что ты думаешь.

Я взял рукопись и больше половины прочитал в поезде по дороге в Остенде. Потом в Англии я собирался вернуть ее автору вместе с длинным подробным письмом, но в суете некогда было написать его, и, прежде чем я взялся за перо, пришла записка от Резерфорда, сообщавшего, что он снова пускается странствовать и в течение нескольких месяцев будет недосыгаем для почты. Он сообщал, что отправляется в Кашмир, а оттуда на Восток. Меня это нисколько не удивило.

Глава первая

В третью неделю мая обстановка в Баскуле резко ухудшилась, и 20-го, по договоренности с начальством в Пешаваре, прибыли военные самолеты, чтобы вывезти европейцев. Их было около восьмидесяти человек, и с помощью транспортных машин ВВС большинство удалось благополучно переправить через горы. К делу было приспособлено и несколько летательных аппаратов иного назначения, в том числе легкий самолет, предоставленный махараджей Чандапура^[12], около десяти утра он принял на борт четырех пассажиров. Это были: Роберта Бринклоу из Восточного миссионерского общества, американец Генри Д. Барнард, королевский консул Хью Конвэй и чиновник той же службы Его Величества вице-консул капитан Чарлз Мэлинсон.

Имена здесь перечислены в том порядке, в каком они появились потом в индийских и английских газетах.

Конвэю было тридцать семь. В Баскуле он находился уже два года и выполнял работу, которую в свете последующих событий можно рассматривать как занятие, навязанное упорным стремлением ставить не на ту лошадь. Некая полоса его жизни подходила к завершению. Через несколько недель или, может быть, после двух-трехмесячного отпуска в Англии ему предстояло перемещение в другие края. Токио или Тегеран, Манила или Маскат — люди его профессии никогда не знают, что на них надвигается. За спиной у

¹² Чандапур — вымышленное государство. В тогдашней Индии были два населенных пункта под названием Чандапур, но оба совсем не в тех краях, где разворачивается действие романа.

него были десять лет консульской службы — достаточный срок, чтобы собственные виды на будущее он мог оценить с той же пронизательностью, с какой оценивал возможности других. Он знал, что до сладких слив ему не добраться. Но для него это не только означало вынужденную необходимость довольствоваться кислым виноградом. Это служило утешением, потому что сладких слив он не любил. Его занимала не столько высота должностного ранга, сколько развлекательное многоцветье выполняемой работы. На такой вкус места всегда находились. Считались они плохими, а потому и он сам слыл человеком, не умеющим толково разыграть свои карты. Ну, он-то полагал, что разыгрывает их весьма успешно, и о минувшем десятилетии думал как о времени, полном разнообразных впечатлений и в целом довольно-таки приятном.

Высокий, прокаленный солнцем. Каштановые волосы коротко подстрижены. Взгляд серо-голубых глаз кажется суровым и задумчивым. Но это пока не рассмеется. Когда же — совсем не часто — случалось ему расхохотаться, выглядел он по-мальчишески задорным. У его левого глаза кожа чуть подрагивала, и обычно это становилось заметным после слишком напряженной работы или чересчур обильной выпивки. Накануне вылета он сутки напролет занимался укладкой багажа и уничтожал документы, так что при посадке в самолет нервный тик присутствовал на его лице самым очевидным образом. Конвэй чувствовал сильную усталость и был бесконечно рад, что удалось попасть в роскошную аэрокарету махараджи и избежать тесноты переполненного военно-транспортного самолета. Он блаженно погрузился в уютное кресло и предоставил свое тело во власть поднявшейся в воздух машины. Он

был из тех людей, которые готовы переносить серьезные трудности, но за это стремятся вознаграждать себя маленькими удобствами. С легким сердцем он претерпел бы все суровые невзгоды на пути в Самарканд, но из Лондона в Париж мог ехать только «Золотой стрелой» — и на это не жалел никаких денег.

Полет продолжался уже больше часа, когда Мэлинсон сказал, что, по его мнению, пилот не соблюдает положенного курса. Мэлинсон сидел впереди. Это был молодой человек лет двадцати пяти, розовощекий, интеллигентный — хотя и не интеллектуал. Государственная школа вложила в него все свои недостатки, но одновременно и все свои достижения. Провал на экзамене послужил главной причиной его отправки в Баскул, где Конвэй за полгода, проведенные вместе, проникся к нему добрыми чувствами.

Беседа в самолете требует усилий, а Конвэй не был расположен к ней. Он чуть приоткрыл сонные глаза и заметил, что пилоту виднее, каким курсом лететь. Еще полчаса спустя, когда усталость и мерный шум мотора почти совсем усыпили его, Мэлинсон снова подал голос:

— Послушайте, Конвэй, я думал, у нас за штурвалом Феннер.

— А разве нет?

— Парень только что обернулся, и я готов поклясться, это не он.

— Да ведь через эту стеклянную перегородку не разглядишь.

— Феннера-то я всегда узнаю.

— Ну, значит, это кто-нибудь другой. Какая разница?

— Но Феннер уверял меня, что именно он полетит с нами.

— Значит, они что-то переиграли, дали ему другую машину.

— Хорошо, а кто же ведет наш самолет?

— Мой милый друг, откуда я могу знать? Не предполагаешь же ты, что я помню в лицо всех лейтенантов ВВС.

— Я, во всяком случае, знаю очень многих, но не этого.

— Следовательно, он принадлежит к меньшинству, которое осталось вне круга твоих знакомств. — Конвэй улыбнулся и добавил: — Скоро мы прибудем в Пешавар, и там ты сможешь с ним познакомиться и попросить его подробно рассказать о себе.

— Так мы в Пешавар никогда не попадем. Он совсем ушел с курса. Да еще забрался так высоко, что едва ли может знать, где он вообще находится.

Конвэя все это не беспокоило. Он привык к воздушным путешествиям, принимал все как должное. А кроме того, в Пешаваре его не ждали никакие особые дела, не предстояло там никаких важных встреч, и ему было совершенно безразлично, сколько продлится полет — хоть четыре часа, хоть шесть... Нежные приветствия по прибытии для него, холостяка, не были заготовлены. Друзья водились, и кто-нибудь из них, наверное, позовет в клуб и предложит выпить. Приятно, конечно, но не настолько, чтобы вздохнуть в предвкушении.

Не вздыхал он и при воспоминаниях о последнем прожитом десятилетии. Годы эти были приятными, но тоже лишены того, что могло бы захватить его ум и душу. Переменная облачность с прояснениями, временами ненастье — так он представлял себе обобщенную сводку погоды за эти десять лет жизни, его собственной и мира. Он думал о Баскуле, Пекине, Макао и других местах, где пришлось бывать так часто. Далеко-далеко оставался Оксфорд. Там после войны он пару лет преподавал историю Востока, вдыхал пыль в залитых солнцем библиотечных залах, колесил по улицам на велосипеде. Эта картинка прошлого забавляла, но не волновала его. В некотором смысле его не покидало чувство, будто он составляет лишь частичку всего того, чем он мог бы быть.

Знакомое ощущение в желудке сообщило ему, что самолет пошел на снижение. Захотелось подковырнуть Мэлинсона по поводу его переживаний, и Конвэй, наверное, начал бы подтрунивать над юношей, если бы тот вдруг не вскочил, да так резко, что ударился головой о потолок. Толкнув американца Барнарда, дремавшего в кресле по другую сторону узкого прохода, Мэлинсон устался в окно и закричал:

— Боже мой! Посмотрите туда, вниз!

Конвэй посмотрел. Увидел он, безусловно, не то, что ожидал, если вообще рассчитывал рассмотреть что-либо. Вместо четких, геометрически правильных кварталов военного городка и продолговатых закругленных очертаний ангаров внизу лежала едва прикрытая дымкой бескрайняя, выжженная солнцем пустыня. Быстро снижавшийся самолет еще находился на необычно большой высоте. Можно было различить длинные

складки горных хребтов, а примерно на милю дальше — кляксы облаков в ущельях. Для Конвэя это был обычный пейзаж Границы, хотя он никогда прежде не видел его с такой высоты. Станным было то, что подобную картину он не мог себе представить где бы то ни было поблизости от Пешавара.

— Не узнаю это место, — проговорил он. Потом тише, не желая волновать других, он добавил прямо в ухо Мэлинсону: — Кажется, ты был прав. Парень сбился с курса.

Самолет ринулся вниз со страшной скоростью, и чем ниже он спускался, тем горячее становился воздух. Выжженная земля дышала жаром, как раскаленная печка, да еще с открытой дверцей. Горные вершины одна за другой уносились вверх, и самолет теперь летел в извилистом ущелье над грудями камней и высохшими руслами потоков. Будто поле, усеянное осколками разорвавшихся снарядов. Самолет подскакивал и сотрясался в воздушных ямах, как лодка на крутой волне. Все четыре пассажира вынуждены были прочно держаться за свои кресла.

— Смотрите, как он собирается садиться! — закричал американец.

— Это невозможно, — отозвался Мэлинсон. — Безумие, ничего не получится! Он разобьется и...

Но летчик уже сажал самолет. Впереди открылась площадка, расчищенная на краю обрыва. Машина несколько раз подпрыгнула на ней, вздрогнула и остановилась, засвидетельствовав тем самым, что ею управляют весьма искусные руки. Менее обнадеживающим и более озадачивающим оказалось то, что произошло следом. Бородатые люди в тюрбанах

ринутись к самолету со всех сторон, роем налетели на него и решительно пресекли попытки пассажиров высадиться. Спуститься на землю позволено было только пилоту, с которым они вступили в оживленный разговор. Тут уже ясно выяснилось, что летчик, конечно же, был никакой не Феннер, не англичанин, а возможно, и вовсе не европеец.

Тем временем из расположенного поблизости хранилища поднесли канистры, бензином из которых были заполнены весьма вместительные баки самолета. В ответ на крики четыре пассажира-пленника получали только ухмылки и презрительное молчание, а малейшие их попытки выбраться из самолета приводили к угрожающим движениям десятков стволов. Конвэй, немного говоривший на пушту, призвал на память все известные ему обороты этого языка и обратился к туземцам с речью, но не нашел у них никакого отклика. Пилот, правда, откликался на всякое замечание в его адрес, причем на любом языке, но лишь тем, что многозначительно помахивал револьвером. Полуденное солнце, обжигавшее крышу кабины, так накатило воздух внутри самолета, что пассажиры находились в полуобморочном состоянии от жары — и от отчаяния. По условиям эвакуации им не полагалось иметь оружия, и теперь они оказались совершенно беспомощны.

Когда пробки на горловинах бензобаков были закручены, в кабину через окно протянули канистру из-под бензина, наполненную тепловатой водой. Вопросы все еще оставались без ответа, и люди вокруг выглядели настроенными враждебно. Еще немного поговорив с ними, пилот поднялся на свое место за штурвалом. Бородач в турбине неуклюже крутанул пропеллер, и путешествие возобновилось. С такой маленькой

площадки, да к тому же с полными баками, взлет потребовал еще большего мастерства, чем посадка. Самолет взмыл вверх и в вышине, окутанный поднебесной дымкой, повернул на восток, твердо обозначив свой дальнейший курс. Время перевалило за полдень.

Пассажиры, оживившиеся в прохладе свежего воздуха, просто не могли поверить в случившееся. Произошло нечто возмутительное. Никто из них был не в состоянии припомнить подобное во всей бурной истории Границы. Не испытай они этого на собственной шкуре, ни за что не поверили бы, что такое возможно.

Вполне естественно, что неспособность ухватить смысл происходящего породила сильное негодование, а когда оно улеглось, настала очередь беспокойных рассуждений и догадок. Мэлинсон выдвинул теорию, которую они сочли приемлемой, главным образом за отсутствием других. Их похитили в расчете на выкуп. Само по себе это не ново, хотя использованный в данном случае прием был необычным. То, что подобное случалось и раньше, служило некоторым утешением. В конце концов, похищения бывали и прежде, и очень многие завершались вполне благополучно. Племя держит вас в какой-нибудь горной берлоге, пока правительство не раскошелится, после чего вас отпускают на свободу. Обращаются с вами вполне прилично, а поскольку похитителям выплачиваются не ваши собственные деньги, все неприятности кончаются для вас вместе с самим приключением. Потом, разумеется, ВВС посылают на место происшествия эскадрилью бомбардировщиков, а у вас в запасе оказывается замечательная история, которую вы будете пересказывать до конца своих дней.

Мэлинсон высказал свое предположение с некоторой долей тревоги. Но Барнард, американец, ухватился за него как за повод повеселиться.

— Ну-ну, джентльмены, я бы сказал, чья-то голова хитро задумала. Но не осмелюсь утверждать, что при этом ваша военная авиация покрыла себя славой. Вы, британцы, любите отпускать шутки насчет чикагских грабежей и всего такого прочего, но я что-то не припомню случая, когда бы паренье пистолетом угнал самолет Дяди Сэма. И между прочим, интересно было бы узнать, что этот молодец сделал с настоящим пилотом. Держу пари, он его пристукнул.

Барнард зевнул. Это был большой, плотный человек. Веселые морщинки не в состоянии были согнать грусть с его изможденного лица. В Баскуле о нем никто ничего не знал, кроме того, что он прибыл из Персии, где, как предполагалось, вел какие-то дела с нефтью.

Конвэй между тем занялся весьма практическим занятием. Он собрал всю имевшуюся у них бумагу до последнего клочка и стал сочинять послания на местных языках, собираясь время от времени сбрасывать их вниз на землю. Жалкая надежда в столь пустынной местности, но попытаться стоило.

Четвертая в их компании, мисс Бринклоу, сидела неподвижно — сжатые губы, прямая спина, мало слов и никаких жалоб. Эта маленькая женщина всем своим видом как бы показывала, что гостьей здесь она оказалась вынужденной и ее присутствие отнюдь не означает, будто она целиком одобряет происходящее.

Конвэй нечасто вступал в разговор. Чтобы переложить сигнал «SOS» на местные диалекты, требовалась полная сосредоточенность. Однако если ему

задавали вопросы, он отвечал и теорию Мэлинсона условно принял. В какой-то степени он согласился также с нападками Барнарда на BBC.

— Хотя, конечно, случившееся можно объяснить. В такой суете не разберешь, кто есть кто среди людей, облаченных в летные комбинезоны. Нет никаких оснований терзаться сомнениями и подозрениями в адрес человека, одетого по форме и явно знающего свое дело. А этот, конечно же, вел себя как полагается — подавал должные сигналы и прочее. Вполне очевидно также, что летать он умеет... Тем не менее я согласен с вами, в связи с этим делом кому-то следует устроить головомойку. И будьте уверены, это произойдет. Только мне кажется, что кара будет незаслуженной.

— Замечательно, сэр, — отозвался Барнард. — Я, что уж там говорить, восхищаюсь тем, как вы смогли увидеть одновременно обе стороны медали. Так, несомненно, и надо смотреть на вещи — даже когда вас силой вытаскивают на прогулку в поднебесье.

У американцев, подумал Конвэй, есть особый дар ставить себя выше собеседника, не оскорбляя его. Он миролюбиво улыбнулся, но разговор не продолжал. Его охватила такая усталость, которую он не смог бы стряхнуть даже перед лицом самой большой из мыслимых опасностей. К вечеру, когда Барнард и Мэлинсон обратились к нему за разрешением разгоревшегося между ними спора, он не отозвался. Казалось, он крепко спал.

— Каюк, — заключил Мэлинсон. — И неудивительно после всего, что он пережил в эти несколько недель.

— Вы его друг? — осведомился Барнард.

— Я работал с ним в консульстве. И мне известно, последние четыре ночи подряд он даже не прилег. Сказать по правде, нам дьявольски повезло, что он оказался с нами в этом горячем местечке. Знает языки, имеет подход к людям. Если кто и вытянет нас из заварухи, так это он. Не теряет хладнокровия.

— Ну, тогда пусть поспит как следует, — решил Барнард.

Мисс Бринклоу сделала одно из своих немногословных замечаний.

— Мне кажется, он выглядит очень смелым человеком, — сказана она.

Конвэй был гораздо менее уверен в том, что его можно считать смелым человеком. Физическое утомление заставило его закрыть глаза, но настоящего сна не было. Он все слышал и улавливал каждое движение в самолете.

Со смешанными чувствами воспринял он похвалы, которые расточал ему Мэлинсон. Из-за них-то и обрушились на него сомнения. Защемило в желудке, он понял: подобным образом тело отзывается на тревогу, поселившуюся в мыслях. Он прекрасно знал по опыту, что не принадлежит к людям, которым опасность доставляет удовольствие сама по себе. Иногда он находил в ней и кое-что приятное — возбуждение, возможность встряхнуться. Но наслаждаться ею, подвергая риску собственную жизнь, — такое ему было совершенно чуждо. Двенадцатью годами раньше окопная война во Франции научила его не рисковать, и он несколько раз избежал смерти благодаря тому, что не лез на рожон. Даже свой орден он заработан не столько храбростью, сколько тяжело доставшимся умением

проявлять выдержку и упорство. А после войны каждая новая опасность вызывала у него все меньше удовольствия, разве что в награду она сулила особую остроту ощущений.

Он по-прежнему сидел с закрытыми глазами. Его растрогали, но и несколько смутили слова Мэлинсона. Так уж повелось, что его уравновешенность всегда сходила за мужество. В действительности же она скрывала не столько присутствие духа, сколько безразличие.

Дьявольски неприятная переделка, думал он. И вовсе не замечая в себе готовности к смелым поступкам, он испытывал прежде всего отвращение к любой возможной неприятности. Взять, скажем, мисс Бринклоу. Он прикидывал, что при определенных обстоятельствах ему придется вести себя, исходя из той посылки, что, как женщина, она заслуживает лучшего, чем все остальные, вместе взятые, и содрогался при мысли, что могут возникнуть условия, при которых соответствующее, нарушающее все пропорции поведение станет для него неизбежным.

Тем не менее, притворившись проснувшимся, он первым делом обратился к мисс Бринклоу. Про себя он отметил, что она не может похвастаться ни молодостью, ни красотой. Эти ее добродетели со знаком минус были весьма кстати, если учесть, в каком трудном положении все они могли оказаться в скором времени. Он также испытывал к ней некоторое чувство жалости, так как подозревал, что ни Мэлинсон, ни американец не любят миссионеров, тем более женского пола. Сам он не имел подобных предубеждений, но боялся, что широта его

взглядов покажется ей особенно неожиданной, а потому приведет ее в еще большее беспокойство.

— Кажется, мы здорово влипли, — сказал он, наклонившись к ее уху. — Но я рад, что вы не теряете спокойствия. Вообще-то я не думаю, чтобы с нами произошло действительно что-нибудь страшное.

— Убеждена, не произойдет, если вы сможете этому помешать, — ответила она.

И это не прозвучало для него утешением.

— Обязательно скажите мне, если вам нужна будет какая-нибудь услуга, и я постараюсь сделать вашу жизнь поудобнее.

Барнард услышал сказанное.

— Поудобнее? — громовым эхом отозвался он. — Да мы же и так утопаем в удобствах. Мы просто наслаждаемся путешествием. Жаль, у нас нет колоды карт, сейчас же сели бы за бридж.

Конвэй поддержал это замечание, хотя бридж он не любил.

— Не думаю, что мисс Бринклоу играет в карты, — сказал он с улыбкой.

Но монахиня, резко повернувшись, возразила:

— Ошибаетесь, я как раз играю и никогда не видела в картах ничего дурного. В Библии против них не сказано ни слова.

Все рассмеялись, и казалось, преисполнились к ней благодарностью за повод повеселиться. Конвэй отметил, что она по крайней мере не истеричка.

Всю вторую половину дня самолет гудел, пробивая путь сквозь плотные туманы верхних слоев атмосферы. Он летел слишком высоко, поэтому нельзя было хоть что-нибудь разглядеть внизу. Впрочем, изредка в разрывах молочной пелены облаков на мгновение появлялись зубчатые очертания высокой горы или блестящие ленты безымянных потоков. Общее направление можно было приблизительно определить по солнцу. В основном они летели на восток, изредка отклоняясь к северу. Но чтобы понять, где именно они могут в конце концов оказаться, надо было знать скорость полета, о которой Конвэй не имел ни малейшего представления. Он предполагал, что запас топлива близится к концу, хотя и тут дело могло обстоять по-разному.

Конвэй не обладал познаниями в области авиационной техники, но он уже уверился, что кем бы ни был их пилот, а самолетом он управлял мастерски. Посадка в каменистой долине показала это с очевидностью, были тому и другие свидетельства. И Конвэй не мог избавиться от чувства, всегда возникавшего у него в присутствии высшей и несомненной компетентности.

К нему самому вечно обращались за помощью. И он так от этого устал, что рядом с человеком, у которого явно не будет ни просьб о помощи, ни нужды в ней, он испытывал некоторое спокойствие, оберегавшее от переживаний по поводу надвигавшихся передраг. Но от своих спутников он не ждал таких же настроений. Он сознавал, что у каждого из них личных причин для волнений и переживаний, вероятно, больше, чем у него. Мэлинсон, например, был помолвлен, и в Англии его ждала невеста. Барнард, похоже, был женат. Для мисс

Бринклоу имели значение ее работа, или призвание, или как еще она это называла. Мэлинсон, кстати, проявлял гораздо меньшую выдержку, чем все прочие. С каждым часом он все больше выходил из себя — вплоть до того, что стал злиться на то самое хладнокровие Конвэя, которое еще недавно расхваливал.

Дошло и до громкой свары, перекрывшей шум мотора.

— Слушайте, вы! — яростно орал Мэлинсон. — Неужели так и будем сидеть сложа руки? И ждать, пока этот маньяк сотворит с нами все, что пожелает его проклятая душа? А что мешает разбить перегородку и покончить с ним?

— Ровным счетом ничего, — ответил Конвэй. — Разве только то, что он вооружен, а мы нет. И еще то, что ни один из нас не сможет посадить самолет на землю.

— Ну, это, уж конечно, не составит большого труда. Вы-то, я полагаю, сумеете это сделать.

— Мой дорогой Мэлинсон, почему ты всегда именно от меня ждешь чудес?

— Ну ладно, так или иначе, чертова карусель доводит меня до бешенства. Мы разве не можем заставить негодяя приземлиться?

— Как ты предлагаешь это сделать?

Мэлинсон заводился все больше и больше.

— Вот он перед нами, не так ли? Рукой подать, и нас трое мужиков против одного! И мы ничего не можем, кроме как сидеть, уставившись в его спину? Ну, по

крайней мере давайте выдадим из него объяснение, что все это значит.

— Хорошо, попытаемся.

Конвэй подошел к перегородке, которая отделяла их от возвышавшейся впереди кабины пилота. Часть стеклянной перегородки представляла собой подвижную заслонку, своего рода квадратную форточку, через которую пилот, повернув голову и слегка наклонившись, мог общаться с пассажирами. Конвэй постучал по стеклу костяшками пальцев. Последовавший ответ настолько соответствовал его ожиданиям, что ему это даже показалось забавным. Стеклянная заслонка скользнула вбок, и в форточке появилось дуло револьвера. И не единого слова. Конвэй не стал оспаривать представленный довод, вернулся на место, и форточка закрылась.

Мэлинсона случившееся удовлетворило лишь отчасти.

— Не думаю, чтобы он решился стрелять, — заметил он. — Похоже на блеф.

— Вполне, — согласился Конвэй, — но лучше уж ты сам проверяй, так ли это.

— Что ж, мне кажется, надо дать хоть какой-нибудь бой, а не сдаваться просто так.

Конвэй воспринимал это с пониманием. Он узнавал общепринятую установку со всеми относящимися к ней образами героических солдат, со всеми школьными учебниками по истории, напоминающими, что англичане не ведают страха, никогда не отступают и никогда не терпят поражения. Он сказал:

— Затевать бой без всякой надежды на победу — это жалкая игра, и я не из тех героев, что решаются на подобное.

— Тем лучше для вас, сэр, — с чувством произнес Барнард. — Когда вы коротко подстрижены, а вас все равно хватают за волосы, вполне можно уступить — и даже с удовольствием. Что до меня, то я намерен наслаждаться жизнью, пока она продолжается, и сейчас, пожалуй, закурю сигару. Надеюсь, вы не придаете значения этому неудобству в нависшей над нами опасности?

— Я — несколько. Но может быть, это не понравится мисс Бринклоу.

Барнард поспешил исправить оплошность:

— Извините меня, мадам, вы не станете возражать, если я закурю?

— Ничуть, — ответила она благосклонно. — Сама я не курю, но аромат сигары доставляет мне удовольствие.

Конвэй почувствовал, что среди женщин, способных на такое заявление, первой с ним выступит именно мисс Бринклоу. Тем временем Мэлинсон немного утомился, и Конвэй дружелюбно предложил ему сигарету, хотя сам курить не стал.

— Я знаю, каково тебе приходится, — мягко сказал он. — Дело дрянное, а в определенном смысле и того хуже, потому что мы ничего не можем изменить.

«С другой стороны, однако, оно и к лучшему», — невольно подумал Конвэй про себя. Его все еще сковывала страшная усталость. И к тому же в природе его было заложено свойство, которое иные люди могли

бы ошибочно принять за лень. Мало кто способен был с таким усердием отдаваться работе, когда ее действительно надо было сделать, и мало кто с такой же готовностью брал на себя ответственность. Но и то правда, что в нем не было жажды деятельности и сознание своей ответственности вовсе не доставляло ему наслаждения. Труд и ответственность составными частями входили в его служебные занятия; и в том и в другом он, как мог, старался быть на высоте. Но всегда был готов уступить место другому, кто будет работать так же или лучше.

Это свойство и было, несомненно, в какой-то мере причиной его не столь внушительных, как ожидалось, успехов в служебном продвижении. У него не было такого честолюбия, которое заставляло пробивать себе дорогу, расталкивая других, или изображать бурную деятельность в обстановке, когда и впрямь ничего делать не надо. Его депеши отличались порой краткостью, граничащей с дерзостью. А хладнокровие, какое он проявлял в чрезвычайных обстоятельствах, хотя и вызывало восхищение, но заставляло некоторых сомневаться: не равнодушие ли это? Начальство любит, чтобы подчиненные напрягались, а их внешнее спокойствие служило только обычной маской воспитанного человека, который не выставляет свои чувства напоказ. Но вот насчет Конвэя время от времени возникало мрачное подозрение, что он не только кажется совершенно спокойным, но и действительно не испытывает никаких волнений и что, как бы ни повернулось дело, ему наплевать.

Но, как и в случае с его ленью, это было не совсем точное толкование его поведения. Окружавшие его люди в большинстве своем удивительным образом не замечали

простой и очевидной черты его характера — склонности к покою, созерцательности и одиночеству.

При наличии такой склонности, да еще при том, что заняться было решительно нечем, Конвэй откинулся на спинку кресла и теперь уже по-настоящему заснул. Проснувшись, он заметил, что и другие тоже после всех волнений поддались усталости. Мисс Бринклоу сидела с закрытыми глазами прямая, будто проглотила металлический стержень. Видом своим она напоминала потускневшего, заброшенного идола. Мэлинсон устроился поудобнее, уперев подбородок в ладошку. Американец даже похрапывал. Все это весьма разумно, подумал Конвэй, нет смысла взвинчивать самих себя криками. Но в тот же миг появилось нечто новое в его собственных ощущениях, слегка закружилась голова, участилось сердцебиение, ему захотелось вдохнуть сразу и побольше воздуха. Он вспомнил, что такое с ним однажды уже было — в швейцарских Альпах.

Он выглянул в окно. Небо вокруг выглядело совершенно чистым, и в остатках дневного света перед ним открылся вид, от которого его дыхание чуть было не остановилось вовсе. Вдали, на самом краю видимого пространства, ряд за рядом выстроились снежные вершины. Вниз по склонам сползали ледники. И вся эта горная страна как бы плыла над пышными облаками. Горы дугой опоясывали весь горизонт и на западе исчезали в почти ослепительном пламени, которое горело как бы вдохновенным импрессионистским мазком на картине полусумасшедшего гения. А самолет между тем несся среди этого великолепия, приближаясь к выроставшей впереди белоснежной стене, которая казалась просто частью неба, пока на нее не упали солнечные лучи. И тогда она предстала сверкающей

громадой, и зрелище было такое, будто они находились в Мюррене^[13] у подножия залитой солнцем Юнгфрау, только эта гора казалась в десять раз больше и ее снега сверкали ярче.

Конвэй не был охотником за зрительными впечатлениями, и его совсем, как правило, не занимали «виды природы» — особенно те, для созерцания коих заботливые муниципальные власти расставляют скамейки. Однажды возле Дарджилинга его затянули на Тигровую гору, чтобы полюбоваться восходом солнца на Эвересте, и в итоге высочайшая вершина мира стала для него бесспорным разочарованием. Но тот зловещий спектакль, что разворачивался за окном самолета, был зрелищем иного разряда, не из тех, которые сознательно выставляются напоказ с расчетом вызвать восхищение. Нечто дикое и устрашающее было в этих непреклонных ледяных скалах, и некая возвышенная неустрашимость заключалась в самом способе приближения к ним.

Он стал размышлять, где они находятся, вызывая в памяти географические карты, прикидывая расстояния, стараясь увязать время со скоростью. Тут он заметил, что Мэлинсон тоже не спит. Он тронул руку юноши.

¹³ Мюррен — швейцарский зимний курорт, расположенный у подножия горы Юнгфрау.

Глава вторая

Конвэй не стал никого будить, подождал, пока другие проснутся сами, и потом не очень-то отзывался на их удивленные возгласы. Но когда Барнард захотел узнать, на какие мысли наводит его эта картина, он изложил свое мнение так, как это делает университетский профессор, свободно и словно со стороны объясняющий суть проблемы. По его представлениям, они все еще находились в Индии. В течение нескольких часов они летели на восток, слишком высоко, чтобы можно было что-нибудь рассмотреть, но, вероятно, их маршрут пролегал вдоль долины какой-то реки.

— Не очень-то полагаюсь на свою память, но мне кажется, это вполне могла быть долина Инда в его верхнем течении. Коли так, она должна была привести нас в очень впечатляющую часть мира, и, как видите, привела.

— Стало быть, вы знаете, где мы находимся? — прервал его Барнард.

— Ну, пожалуй, нет. Я никогда прежде не бывал сколько-нибудь близко к этим краям, но не удивлюсь, если вон та гора и есть Нанга Парбат^[14], на которой погиб английский альпинист Маммери. Ее очертания, весь пейзаж соответствуют всему, что я о ней слышал.

— Вы сами причастны к альпинизму?^[15]

¹⁴ Нанга Парбат — по-кашмирски «голая гора»; вершина в Западных Гималаях, 8125 м над уровнем моря.

¹⁵ Считается, что прообразом Конвэя послужил Хилтону английский альпинист

— В молодости очень увлекался. Но конечно, дело не шло дальше обычных швейцарских восхождений.

Мэлинсон раздраженно вмешался в разговор:

— Полезнее было бы поговорить о том, куда нас несет. Пусть кто-нибудь, Бога ради, скажет нам это.

— Ну что ж, сдается, что несет нас вон к тому хребту, — сказал Барнард. — Вы согласны, Конвэй? Извините, что обращаюсь к вам так запросто, но коль скоро нам предстоит совместно пережить маленькое приключение, жаль было бы тратить силы на церемонии.

Конвэй считал вполне естественным, чтобы его называли по имени, и извинения Барнарда показались ему несколько излишними.

— Да, разумеется, — согласился он и добавил: — Думаю, этот хребет — горы Каракорум. В них есть несколько перевалов. Это к тому, что, может быть, наш пилот захочет их пересечь.

— Наш пилот? — воскликнул Мэлинсон. — Вы хотите сказать: наш маньяк! Настала, я считаю, пора отбросить теорию насчет похищения. Земли Границы у нас уже давно позади, здесь внизу нет никаких племен. Единственное объяснение я нахожу в том, что этот парень — законченный шизик. Только сумасшедший способен залететь в такую местность.

— Я уверен, что залететь сюда не способен никто, за исключением дьявольски хорошего летчика, — отозвался Барнард. — Я никогда не был силен в географии, но знаю, эти горы славятся как самые

высокие в мире, а коли так, чтобы пересечь их, требуется, будьте любезны, первоклассное мастерство.

— И еще воля Божья, — неожиданно вставила мисс Бринклоу.

Конвэй промолчал. Воля Божья или безумие человеческое составляли, на его взгляд, тот выбор, который открывается всякому, кто желает получить удовлетворительное объяснение для большинства вещей и событий. Или наоборот (это он допустил, приглядываясь к продуманно устроенному маленькому миру кабины и сравнивая его с таким необузданным творчеством природы за окном) — воля человеческая и безумие Божье. То-то было бы удовольствие твердо установить, какой именно взгляд на вещи правильный.

За окном, пока он смотрел и размышлял, все вдруг странным образом преобразилось. Гора стала синей, а в нижней, более темной части — фиолетовой. Нечто, превосходящее его обычную отрешенность, поднялось в душе Конвэя — нет, не волнение, тем более не страх, но пронзительное предчувствие необыкновенного. Он сказал:

— Вы совершенно правы, Барнард, дело принимает все более удивительный оборот.

— Удивительный или нет, я вовсе не намерен этому радоваться, — твердил свое Мэлинсон. — Мы сюда не просились, и только на небесах ведают, что с нами будет, когда мы попадем на место, где бы оно ни находилось. И у меня нет оснований считать всю эту историю менее возмутительной только потому, что негодяй оказался мастером воздушного цирка. Пусть так, но это не мешает ему быть и шизиком. Однажды я слышал, летчик спятил

во время полета. А этот наверняка свихнулся еще на земле. Вот моя теория, Конвэй.

Конвэй молчал. Ему надоело перекрикивать гул мотора, да, в конце концов, бесполезным представлялось перебирать все новые и новые толкования происходящего. Но когда Мэлинсон потребовал ответа, он сказал:

— Знаешь, очень четко отлаженное безумие. Не забудь, как мы садились для заправки. И учти также, что это единственный самолет, способный подняться на такую высоту.

— Не доказывает, что он нормальный. Может, он из тех шизиков, которые умеют все рассчитать.

— Да, это, разумеется, возможно.

— Ага, ну, тогда мы должны составить план действий. Что мы собираемся делать, когда он приземлится? Конечно, если не разобьется и не погубит всех нас. Что мы будем делать? Бросимся к нему с выражением благодарности за чудесный полет — это, да?

— Мы? Ни Боже мой, — ответил ему Барнард. — Броситься с выражением — это я целиком предоставляю вам.

И опять Конвэю не хотелось продолжать спор, тем более раз уж американец с его уравновешенностью и добродушием вполне, как казалось, справлялся с этим делом. Конвэй поймал себя на мысли о том, что их группа могла сложиться и гораздо менее удачно. Лишь Мэлинсон капризничал, да и тому причиной отчасти могла быть высота. Разреженный воздух по-разному действует на людей. Для Конвэя, например, он означал одновременно ясность сознания и физическую

расслабленность — состояние, не лишенное приятности. Сдыхая свежий холодный воздух, он как бы вбирал в себя удовольствие, понемногу, маленькими глотками. В целом, конечно, творилось нечто ужасное, но у него не было сил возмущаться чем-либо, содержащим в себе столько целеустремленности и столько захватывающей неопределенности.

По мере того как он разглядывал величественную гору, успокоительным озарением явилось ему сознание, что вот остались же еще такие места на земле, далекие, недоступные, не тронутые человеком. Ледовый бастион Каракорум еще более, чем прежде, поражал своим сверкающим великолепием на фоне северного неба, мрачного и грозного. Горные вершины переливались холодным блеском. Унесенные в даль и высоту, они восхищали своим достоинством. Те несколько тысяч футов, которых им не хватало, чтобы сравняться ростом с известными пиками-гигантами, возможно, навсегда уберегут их от альпинистских экспедиций: нет соблазна, способного искушить охотников за рекордами. Конвэй был прямой противоположностью подобным искателям высших достижений. Он был склонен усматривать нечто вульгарное в западной идеализации превосходных степеней. Установка «максимально для наивысшего» казалась ему менее разумной и, пожалуй, даже более приземленной и пошлой, чем «много для высокого». В общем, чрезмерные усилия его не вдохновляли, а подвиги ради подвигов нагоняли на него скуку.

Он все еще любовался пейзажем, когда сгустились сумерки и из ущелий вверх по склонам гор потянулся густой бархатный мрак. А потом весь хребет, теперь еще более приблизившийся, озарился новым, мягким сиянием. Это всходила полная луна, и свет ее

поочередно заливал горные вершины, одну за другой, будто некий небесный фонарщик делал свою урочную работу, пока не превратил весь горизонт в полосу сверкающих огней, протянувшихся по иссиня-черному небу.

Похолодало, поднялся ветер. Он швырял машину из стороны в сторону, и это была новая неприятность, отразившаяся на настроении пассажиров. Они как-то не рассчитывали на продолжение полета в темноте и теперь последнюю свою надежду связывали с тем, что запас топлива небесноконечен.

Бензина и впрямь, должно быть, осталось немного. Мэлинсон пустился в рассуждения на эту тему, и Конвэй, вопреки собственному нежеланию вести разговор о том, чего он толком не знал, высказал мнение, что топлива могло хватить самое большее на тысячу миль или около того, а они, по его оценке, уже почти полностью покрыли близкое к этому расстояние.

— Ну и куда же тогда нас занесло? — несчастным голосом спросил Мэлинсон.

— Трудно сказать, но, может быть, куда-то в Тибет. Если это Каракорум, то за ним Тибет. Одна из вершин, между прочим, должно быть, К-2, которую считают вторым высочайшим пиком мира.

— В списке гор идет сразу после Эвереста, — отозвался Барнард. — Есть на что поглядеть, черт возьми!

— А с точки зрения скалолаза, куда как пожестче, чем Эверест. Герцог Абрुцци махнул на нее рукой ввиду полной недоступности.

— Боже мой! — раздраженно пробормотал Мэлинсон.

Но Барнард продолжал веселиться:

— Вы знаете, Конвэй, вас следовало бы определить на должность гида в этом путешествии. А будь у меня с собой фляжка французского коньяка, мне, не скрою, было бы наплевать, что там внизу — Тибет или Теннесси.

— Но что мы собираемся делать? — опять завел свое Мэлинсон. — С какой стати мы здесь? В чем смысл? Не понимаю, как вы можете развлекаться шутками.

— Ну, молодой человек, тут можно с одинаковым успехом и шутить, и скандалить. Кроме того, если наш пилот, как вы предполагаете, чокнулся, просто бесполезно заниматься поисками смысла.

— Он наверняка безумец. Я другого объяснения не вижу. А вы, Конвэй?

Конвэй кивнул. Мисс Бринклоу обернулась к ним. Именно так она могла бы обернуться в театре по окончании действия пьесы.

— Поскольку вы не спрашивали моего мнения, вероятно, мне не следовало бы с ним выступать, — начала она с подчеркнутой скромностью. — Но хотела бы сказать, что я согласна с мистером Мэлинсоном. Я уверена, бедняга несколько потерял голову. Наш пилот, я имею в виду, конечно. Во всяком случае, ничто его не может извинить, разве только если он сошел с ума. — И потом, перекрывая шум, она прокричала тоном доверительного признания: — Представьте, это мой первый в жизни полет! Первый, единственный! Никакие силы не могли меня подвигнуть на подобное прежде,

хотя одна подруга самыми разными способами уговаривала слетать самолетом из Лондона в Париж.

— А сейчас вместо этого вы летите из Индии в Тибет, — сказал Барнард. — Вот ведь как бывает в жизни.

Она продолжала:

— У меня был знакомый миссионер, побывавший в Тибете. Он говорил, что его обитатели странные люди. Они считают, мы произошли от обезьян.

— До чего догадливы.

— Ах, нет, Боже, нет! Это не в современном смысле. Они так думали столетиями, это одно из их суеверий. Конечно, я лично ничего этого не принимаю и считаю, что Дарвин гораздо хуже тибетцев. Мои убеждения — в Библии.

— Я так понимаю, вы фундаменталистка?

Но мисс Бринклоу вроде бы не поняла смысла этого слова.

— Я когда-то была членом ЛМО, — прокричала она, — но разошлась с ними по вопросу о крещении младенцев.

Конвэй не сразу сообразил, что ЛМО означает Лондонское миссионерское общество, а когда догадался, все еще продолжал ощущать комизм этого обмена репликами. И он еще прикидывал, насколько удобно было бы вести теологические диспуты, скажем, в толчее лондонского вокзала Юстон, а тем временем подсознательно отмечал некое легкое очарование, исходившее от мисс Бринклоу. Он даже стал подумывать, не предложить ли ей на ночь что-нибудь теплое из

своего гардероба, но пришел к заключению, что при ее худобе вряд ли его вещи придутся ей впору. И он устроился поуютнее, закрыл глаза и сразу же спокойно заснул.

А полет продолжался.

Все они пробудились от внезапного крена самолета. Конвэй ударился головой об иллюминатор, на миг потерял ориентировку, а после обратного крена машины оказался на полу в проходе между креслами. Стало намного холоднее. Первое, что он сделал, машинально, — взглянул на часы. Они показывали половину второго. Значит, он спал довольно долго. Он слышал какие-то громкие хлопки, но принял их за обман слуха, пока не сообразил, что мотор молчит, а самолет планирует, несясь навстречу порывам штормового ветра. Потом он посмотрел в окно и увидел совсем близко пустынную, серую, быстро убегающую назад землю.

— Он идет на посадку! — вскричал Мэлинсон.

А Барнард, тоже выброшенный из кресла, ехидно добавил:

— Если повезет.

Мисс Бринклоу, как бы наименее затронутая всеобщей суматохой, была занята тем, что поправляла шляпку, и делала это так спокойно, будто они приближались к гавани Дувра.

Вскоре самолет коснулся земли. Но на этот раз садились они с трудом.

— Ах, Бог мой! Как плохо! Как дьявольски плохо! — стонал Мэлинсон, впиваясь пальцами в подлокотник своего кресла в течение десяти секунд подскоков и

вибрации. Что-то в машине задрожало и хрустнуло; слышно было, как разорвалась покрышка на одном из колес шасси. — Все, конец, — заключил Мэлинсон с горестной безнадежностью. — Сломался хвостовой костыль. Теперь нам отсюда не выбраться.

Конвэй, совсем не склонный разглагольствовать в минуты испытаний, разминал затекшие ноги и ощупывал ушибленное место на голове. Пустяк, царапина. Его долг был как-то помочь этим людям. Но когда самолет остановился, он последним из четверых поднялся со своего кресла.

— Осторожно, — сказал он Мэлинсону, когда тот распахнул дверь, готовый спрыгнуть на землю. В ответ воцарившуюся относительную тишину прорезал полный ужаса голос молодого человека:

— Здесь нет нужды осторожничать. Это конец света. Во всяком случае, вокруг ни души.

Вскоре все они, содрогаясь от холода, убедились, что так оно и есть. Шум яростных порывов ветра и хруст их собственных шагов — вот и все звуки, которые они слышали, и, внимая им, ощутили себя во власти угрюмой и печальной дикости, разлитой по земле и в воздухе. Луна и звезды, проглядывавшие сквозь редкие облака, высвечивали грандиозную дышавшую ветром пустоту. Не надо было ни знать, ни думать, чтобы догадаться: этот мрачный мир располагается высоко в горах, а те горы, что поднимались вокруг, сами стояли на горах. Цепь вершин белела на далеком горизонте как бы собачьим оскалом.

Мэлинсон быстро направился к кабине.

— На земле, — кричал он, — я не боюсь этого молодца, кем бы он ни был! Сейчас я с ним разберусь...

Другие, словно замороженные его энергией, с тревогой наблюдали, что будет. Конвэй бросился вслед, но слишком поздно. Мэлинсон успел забраться в кабину пилота. Прошло, однако, несколько секунд, и молодой человек опять прыгнул на землю. Он что-то держал в руке и бормотал сдавленным, хриплым голосом:

— Слушайте, Конвэй, странное дело. Этот парень то ли болен, то ли мертв, то ли... не пойму. Не смог выдавить из него ни слова. Пойдите поглядите сами... Револьвер я у него по крайней мере забрал.

— Лучше дай-ка его мне, — сказал Конвэй, и, все еще испытывая некоторую неуверенность в движениях после недавнего ушиба головы, он взял себя в руки и приготовился действовать. У него было такое ощущение, будто все мыслимые неприятности собрались именно в это время, в этом месте, в этих условиях. Он привстал на цыпочки и замер в положении, позволявшем ему видеть — не очень хорошо, — что творится в закрытой кабине. Сильно пахло бензином, поэтому он не решился зажечь спичку. Он сумел только различить согнувшуюся фигуру пилота. Голова его лежала на пульте. Конвэй потряс его, развязал тесемки его шлема, расстегнул ворот. Потом он обернулся и сообщил:

— Да, что-то с ним стряслось. Надо извлечь его отсюда. — Но сторонний наблюдатель заметил бы, как и с самим Конвэем что-то стряслось. В голосе его слышалось больше резкости, больше настоятельности. Он теперь не звучал так, будто вот-вот смолкнет под напором сомнений. Время, место, холод, усталость — все это теперь потеряло значение. Было дело, которое нужно

выполнить, и более земное, общепонятное появилось в натуре Конвэя.

Втроем, вместе с Барнардом и Мэлинсоном, они извлекли пилота из кресла и положили на землю. Он был без сознания, но жив. Особыми медицинскими знаниями Конвэй не обладал, но, как и большинство из тех, кому случилось пожить в далеких, заброшенных местах, он был знаком с симптомами основных болезней.

— Вероятно, сердечный приступ, вызванный пребыванием на большой высоте, — поставил он диагноз, склонившись над летчиком. — Мы мало что можем для него сделать. Никак не скроешься от этого адского ветра. Давайте-ка переправим его в кабину, да и сами заберемся туда же. У нас нет ни малейшего понятия, где мы находимся, и до рассвета бесполезно что-либо предпринимать.

И заключение, и программа действий были приняты без возражений. Даже Мэлинсон согласился. Они перенесли пилота в кабину и пристроили в проходе между креслами, так что он мог лежать, вытянувшись в полный рост. Внутри не было теплее, чем снаружи, но тут их не доставал разбушевавшийся ветер. Вскоре именно ветер стал их главной заботой, важнейшим испытанием в ту печальную ночь. Необычный это был ветер. Не просто сильный или холодный. Это было некое разгулявшееся сумасшествие. Хозяин, шагающий по своим владениям. Он раскачивал тяжелую машину, злобно сотрясал ее, а когда Конвэй выглядывал в окно, ему казалось, будто ветер выдувает искры света из звезд.

Летчик лежал без движения, а Конвэй в темноте и тесноте, чиркая спичками, пытался как мог обследовать его. Немногого он добился.

— Сердце у него сдает, — сказал он в конце концов, и тогда мисс Бринклоу, порывшись у себя в сумочке, удивила всех.

— Не знаю, поможет ли это бедняге, — снисходительно предложила она. — Сама я и капли в рот не возьму, но всегда ношу это с собой — вдруг будет несчастный случай. А ведь сейчас как раз такой случай, не так ли?

— Я бы сказал: не сейчас, а уже позади, — хмуро отозвался Конвэй. Он раскупорил бутылку, понюхал и влил немного бренди в рот летчику. — То, что ему требуется. Спасибо.

Через некоторое время едва заметно дрогнули ресницы летчика. И тут вдруг Мэлинсон впал в истерику.

— Нет, это невозможно! — кричал он, сотрясаясь в диком хохоте. — Мы просто куча законченных идиотов, зажигающих спички над трупом... А он к тому же совсем не красавец. Смотрите. Китаёза, я думаю, если вообще хоть кто-нибудь.

— Возможно, — сказал Конвэй ровным и несколько суровым тоном. — Но он еще не труп. Если повезет, мы сможем привести его в чувство.

— Повезет? Тогда это ему повезет, а не нам.

— Не загадывай. И во всяком случае, пока что помолчи.

В Мэлинсоне еще достаточно оставалось от школьника, чтобы послушаться строгого приказания

старшего, хотя он, судя по всему, плохо владел собой. Конвэй жалел его, но гораздо больше заботило его состояние пилота, единственного здесь человека, способного как-то объяснить постигшую их судьбу. Конвэй не имел желания продолжать умозрительные рассуждения на эту тему; хватало уже того, что было высказано во время полета. В мысли его, кроме привычной любознательности, вкралось теперь неуютное сознание, что их положение изменилось, и вместо щекощущего чувства опасности надвигалась угроза действительно тяжкого испытания с катастрофическим исходом.

Всю эту бессонную штормовую ночь он старался осознать истинное положение вещей — для себя, а не для того, чтобы подать его в нужном виде своим спутникам. Он догадывался, что залетели они гораздо дальше западных отрогов Гималаев, куда-то в сторону менее известных вершин Куньлуня. Значит, сейчас они должны находиться в пустынной и самой негостеприимной части земной поверхности, на Тибетском плато, в обширной, необитаемой и в основном неведомой науке высокогорной местности с продуваемыми ветрами долинами, из которых ближайшая к уровню моря лежит на высоте двух миль. Да, они были в этой заброшенной стране, приговоренные ко всем тяготам безлюдья, в условиях худших, чем на большинстве необитаемых островов.

И вдруг, словно в угоду его любознательности и пытаясь еще больше поразить ее, картина вокруг стала меняться, и эти перемены были довольно тревожными. Луна, которая, как он считал, пряталась за облаком, показалась из-за края мрачной громады и еще до того, как выкатилась полностью, осветила лежавшее впереди

пространство. Конвэй смог разглядеть очертания растянувшейся вдаль долины с низкими, пологими, грустного вида холмами по обе стороны. Угольно-черными волнами они бежали по синему ночному небу. Но взгляд его невольно устремился вперед, туда, где залитая лунным светом, в великолепном сиянии как бы парила над невидимой бездной гора, которую он сразу посчитал самой красивой горой в мире. Это был почти совершенный снежный конус, очерченный простыми, будто детской рукой нарисованными линиями, не позволявшими оценить ни высоту горы, ни расстояние до нее. Она так сверкала и выглядела настолько совершенной, что на какое-то мгновение он усомнился, не привиделась ли она ему. Но на его глазах видение обрело жизнь: крошечный вихрь взметнулся на краю пирамиды и тут же последовал едва слышный шорох скользящей вниз лавины.

Он чуть было не поддался желанию разбудить других, чтобы и они могли любоваться красотами пейзажа, но, поразмыслив, решил, что успокоительного действия это иметь не будет. Здравый смысл подсказывал, что самый вид этой девственной роскоши мог обострить ощущение одиночества и опасности.

С большой вероятностью можно было предполагать, что от ближайшего поселения их отделяли сотни миль. И у них не было ни еды, ни оружия, кроме единственного револьвера. Самолет поврежден, а баки его почти пусты, кроме того, никто из них все равно не знал, как поднять его в воздух. У них не оказалось никакой одежды, способной защитить от страшного холода и жестокого ветра; тут не помогли бы ни шоферская куртка Мэлинсона, ни его собственное долгополое пальто, и даже мисс Бринклоу, закутанная и утепленная, словно

она собралась в полярную экспедицию («Вот потеха-то!» — подумал он, увидев ее впервые), даже она оказалась бы в трудном положении. На всех, кроме него, действовало также пребывание на высоте. Барнард тоже впал в уныние. Мэлинсон бурчал что-то себе под нос; ясно было, что с ним произойдет, если эти тяготы затянутся надолго.

При столь печальном раскладе Конвэй не смог удержаться от восхищенного взгляда в сторону мисс Бринклоу. Необычная особа, думал он о ней. Да и могла ли быть обыкновенной женщина, которая учила афганцев распевать псалмы! Но после всех пережитых опасностей она все-таки оставалась на редкость обыкновенной, и он был глубоко признателен ей за это.

— Надеюсь, вы не очень страдаете? — сказал он, поймав ее взгляд.

— Солдатам во время войны приходилось переносить гораздо худшее, — ответила она.

Конвэю такое сравнение показалось неосновательным. Сам он, правду сказать, не провел в окопах ни одной подобной ночи — такой же отвратительной во всех отношениях. Хотя, несомненно, схожие испытания выпадали на долю многих других.

Все свое внимание он направил теперь на пилота. Тот уже достаточно ровно дышал и иногда шевелился. Мэлинсон, вероятно, не ошибся, решив, что он китаец. Его нос и скулы имели типичные монголоидные черты, не помешавшие ему, впрочем, успешно выступить в роли лейтенанта британских ВВС. Мэлинсон назвал его уродом, но Конвэю, долго прожившему в Китае, его внешность показалась обычной, хотя сейчас, при свете

спички, его желтоватая кожа и разинутый рот выглядели не очень-то привлекательно.

Ночь еле тянулась, словно каждая минута была плотной и тяжелой, так что ее приходилось проталкивать, высвобождая место для следующей. Постепенно поблек и исчез лунный свет, а вместе с ним и призрак далекой горы. И потом до рассвета все сильнее и сильнее наваливалось тройное несчастье — темнота, холод и ветер.

Под утро ветер стих как по команде и позволил миру погрузиться в желанный покой. Впереди снова появился бледный треугольник горы; сначала она была серой, потом серебристой и, наконец, розовой, когда ее вершины коснулись первые лучи солнца. Мрак покидал долину, и она обретала очертания. Видны уже были мелкие камни на земле и возвышавшиеся тут и там валуны покрупнее. Неприветливо все это смотрелось, но у Конвэя постепенно возникало впечатление отточенности пейзажа, лишённого романтической привлекательности, но зато четко выверенного. Белая пирамида вдали, подобно евклидовой теореме, вынуждала бесстрастно согласиться с нею. И когда солнце взошло и выкатилось в глубокую синеву неба, Конвэй опять почувствовал себя почти совершенно спокойным.

Потеплело, все проснулись, и он предложил вынести пилота из кабины, в надежде, что сухой свежий воздух и солнце помогут вернуть его к жизни. Это было сделано, и они заступили на свою вторую, более приятную вахту. Вскоре летчик открыл глаза и сбивчиво заговорил. Все четверо склонились над ним, вслушиваясь в звуки его речи, не имевшие смысла ни для кого, кроме

Конвэй, который время от времени что-то спрашивал. Летчик слабел, говорить ему было все труднее, и наконец он затих навсегда. Это случилось часов в восемь утра.

Конвэй повернулся к своим спутникам:

— Жаль, но он успел рассказать мне очень мало. Чтобы выжить, нам следовало бы знать больше. Сообщил только, что мы в Тибете. Это и так ясно. Он не дал никаких связных объяснений, зачем нас сюда доставили, но, судя по всему, эта местность ему знакома. Он говорил на том диалекте китайского языка, который я не очень хорошо понимаю, но вроде бы он что-то сказал о расположенном поблизости ламаистском монастыре. В этой долине, как я понял. И там мы найдем кров и пищу. Он называл его «Шангри-ла». «Ла» по-тибетски значит перевал. Он очень настаивал, чтобы мы пошли туда.

— Откуда, по моему мнению, вовсе не следует, что мы должны так поступить, — сказал Мэлинсон. — В конце концов, он, вероятно, был не в своей тарелке. Или как?

— Насчет этого ты знаешь ровно столько же, сколько и я. Но если не в это место, куда еще нам идти?

— Куда угодно, мне все равно. Зато я твердо знаю, что эта самая Шангри-ла находится еще на несколько миль дальше от цивилизации. Мне было бы гораздо радостнее сокращать, а не увеличивать расстояние. Черт побери, шеф, вы что, не собираетесь вернуть нас домой?

Конвэй терпеливо отвечал:

— Думаю, ты не совсем понимаешь наше положение, Мэлинсон. Мы находимся в той части мира, о

которой никто ничего не знает, разве только что трудности и опасности ждут здесь даже полностью снаряженную экспедицию. Такого рода местность простирается на сотни миль во все стороны. В свете этого обстоятельства идея возвращения в Пешавар пешком не кажется мне очень обнадеживающей.

— Не думаю, что мне хватило бы сил, — серьезно сказала мисс Бринклоу.

Барнард согласно кивнул:

— Похоже тогда, что нам дьявольски повезло, если эти ламы и вправду где-то тут за углом.

— В каком-то смысле, может быть, и повезло, — согласился Конвэй. — В конце концов, нам нечего есть, а места здесь, как сами видите, не сулят легкой жизни. Через несколько часов все мы начнем страдать от голода. А ночью, если останемся в самолете, опять будут и холод, и ветер. Малоприятная перспектива. Мне кажется, единственная наша надежда — найти живых людей, а где их еще искать, кроме места, в котором они, по полученным сведениям, обитают?

— А если это мышеловка? — спросил Мэлинсон.

И Барнард тут же нашелся с ответом.

— Милая теплая мышеловка, — сказал он. — А в ней кусочек сыра. После этого я готов и умереть.

Засмеялись все, кроме Мэлинсона, расстроенного и сердитого.

Конвэй заключил:

— Значит, я считаю, что все мы более или менее едины. Двигаться, очевидно, надо по долине. Подъем вроде бы не крутой, но пойдём медленно. В любом

случае здесь нам делать нечего. Без динамита мы не можем даже похоронить покойного. А ламы, возможно, дадут нам проводников и носильщиков на обратный путь. Они нам понадобятся. Без них мы не обойдемся. Предлагаю сразу отправиться в путь, чтобы успеть вернуться на ночь к самолету, если к концу дня не найдем монастырь.

— А если найдем? — спросил Мэлинсон, все еще на взводе. — Есть гарантия, что нас не убьют?

— Никакой. Но думаю, это меньший риск и пойти на него предпочтительнее, чем подвергать себя опасности погибнуть от холода или умереть голодной смертью. — Почувствовав, что эта ледяная логика может в данном случае не подействовать, Конвэй добавил: — Вообще-то убийство — это последнее, чего можно ожидать в буддийском монастыре. Это, пожалуй, менее вероятно, чем стать жертвой убийства в англиканском соборе.

— Как это случилось со святым Томасом в Кентербери^[16], — сказала мисс Бринклоу, желая подчеркнуть свое согласие, но полностью опрокидывая смысл его рассуждений. Мэлинсон пожал плечами и ответил в мрачном раздражении:

— Хорошо, ладно, пошли в Шангри-ла. Что это, где это — не важно. Попробуем. Надеюсь по крайней мере, что не надо будет лезть вон на ту гору.

При этих словах все устремили взгляд на далекий сверкающий конус, замыкавший долину. Поистине великолепно смотрелся он в свете расцветающего дня.

¹⁶ В 1170 году сторонники короля Генриха II Плантагенета убили в соборе архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, причисленного впоследствии к лику святых.

Но через минуту они уже не просто любовались окрестностями, а пристально вглядывались в даль, откуда навстречу им двигались люди.

— Провидение! — прошептала мисс Бринклоу.

Глава третья

В Конвэе всегда будто жили два человека. Иногда он отдавался бурной деятельности, в другой раз оставался сторонним наблюдателем. Вот и сейчас в ожидании приближающихся незнакомцев он был далек от суетного поиска решений, которые потребуются от него в зависимости от многих возможных поворотов событий. И не храбрость это была, не хладнокровие и отнюдь не всепокрушающая уверенность в своей способности сделать нужный выбор по ходу дела. Согласно наименее благоприятной для него точке зрения, это была своего рода лень души, нежелание нарушать покой, необходимый ему как любознательному созерцателю происходящих событий.

Человеческие фигурки продолжали двигаться вниз по склону долины, и скоро стало понятно, что было их около дюжины и они несли с собой носилки, накрытые куполом. Чуть позднее в этом паланкине стало возможно разглядеть человека, одетого в синее. Конвэй не представлял себе, куда они могли направляться, но в том, что такой отряд шел именно сюда и именно в это время, конечно же, можно было усмотреть промысел Божий, как и сделала мисс Бринклоу.

Когда расстояние между группами сократилось настолько, что это уже располагало к проявлению взаимного внимания, Конвэй отделился от своих попутчиков и направился навстречу приближающемуся отряду. Он не спешил, ибо знал, что на Востоке люди высоко ценят ритуал встречи и любят его медлительность, размеренность. Остановившись в нескольких шагах от незнакомцев, он с должной

почтительностью поклонился. К великому его удивлению, человек в синем спустился на землю, подошел, сохраняя достойное спокойствие, и протянул руку. Конвэй пожал ее, отметив, что перед ним старый или стареющий китаец, седой, чисто выбритый и облаченный в расшитый, несколько блеклый шелковый халат. Человек, в свою очередь, тоже, по-видимому, произвел быструю оценку Конвэя. Потом четко и чересчур правильно он сказал по-английски:

— Я из ламаистского монастыря Шангри-ла.

Конвэй снова поклонился и, выдержав положенную паузу, начал вкратце излагать обстоятельства, которые привели его в столь редко посещаемую часть мира. Выслушав, китаец жестом подтвердил, что понимает случившееся.

— И впрямь необыкновенно, — произнес он и задумчиво посмотрел на разбитый самолет. Потом продолжил: — Меня зовут Чанг. Не откажите в любезности представить меня вашим друзьям.

Конвэй выдавил из себя улыбку вежливости. Он был весьма поражен: китаец, прекрасно говорящий по-английски и посреди тибетской дикости заботящийся о светских манерах, принятых на Бонд-стрит. Он обернулся к своим. Те уже ухватили суть разговора и присматривались к происходящей встрече с разной степенью удивления.

— Мисс Бринклоу... Мистер Барнард, он из Америки... Мистер Мэлинсон... А мое имя Конвэй. Мы все рады встрече с вами, хотя сама по себе она так же загадочна, как то, что мы вообще здесь оказались. Коль на то пошло, мы как раз собрались двинуться на поиски

вашего монастыря, так что налицо двойная удача. Если вы укажете, куда идти...

— Указания не потребуется. Я буду счастлив послужить проводником.

— Не могу и помыслить, чтобы возложить на вас такую обузу. С вашей стороны это очень мило, но если путь не далек...

— Не далек, но и не легкий. Я почту за честь сопровождать вас и ваших друзей.

— Но право же...

— Я вынужден настаивать на своем.

Конвэй подумал, что с учетом, где и при каких обстоятельствах происходят подобные пререкания, ситуация выглядит просто смешной.

— Ну хорошо, — сказал он. — Все мы, я уверен, преисполнены признательности.

Мэлинсон, угрюмо терпевший этот обмен любезностями, теперь прервал его резким, жестким голосом, каким отдают команды на плацу.

— Надолго мы не задержимся, — рубанул он. — Мы за все заплатим. А на дорогу обратно мы хотели бы нанять ваших людей. Мы намерены как можно скорее вернуться в цивилизацию.

— А вы так уверены, что находитесь далеко от нее?

Этот вопрос, поставленный с вкрадчивой мягкостью, лишь подтолкнул молодого человека к новым резкостям.

— Я уверен, что отсюда далеко до того места, где я хотел бы находиться. Все мы в этом уверены. Мы будем благодарны за временный приют, но еще большую нашу

благодарность вы заслужите, если предоставите нам средства для возвращения. Как долго, по-вашему, может занять путь в Индию?

— Не имею ни малейшего представления, поверьте.

— Хорошо, надеюсь, с этим у нас трудностей не будет. У меня есть кое-какой опыт. Знаю, как нанимать туземцев-носильщиков. И мы ожидаем, вы используете свое влияние, чтобы нас не надули.

Конвэй воспринимал все это как довольно-таки неуместную грубость и уже готов был вмешаться, но Чанг ответил, по-прежнему сохраняя достоинство:

— Я могу лишь заверить вас, мистер Мэлинсон, что обращаться с вами будут уважительно и в конечном счете вам не о чем будет сожалеть.

— В конечном счете? — воскликнул Мэлинсон, обращая внимание именно на эти слова.

Но теперь легче было избежать конфликта, поскольку на сцене появились вино и фрукты. Их извлекли из тюков коренастые тибетцы, закутанные в овечьи шкуры, с меховыми шапками на головах, в ботинках из кожи яка на ногах. Вино имело приятный аромат, вроде того, что дает хорошо выпестованная лоза. А среди фруктов находились отлично вызревшие плоды манго, которые после вынужденного поста казались невероятно вкусными. Мэлинсон ел и пил с неудержимым наслаждением. Но Конвэй, освободившись от сиюминутных забот и не желая думать о будущих, предавался размышлениям о том, как можно вырастить манго на такой высоте. Его занимала также гора в конце долины. Как ни посмотреть, это была поразительная вершина, и удивительно, что о ней не упоминает ни одна

из книг, которыми неизменно завершаются все путешествия в Тибет. Он мысленно стал взбираться на гору, прокладывая путь по уступам и расщелинам, пока какое-то восклицание Мэлинсона не вернуло его на землю. Он огляделся и заметил внимательный взгляд китайца, обращенный к нему.

— Вы рассматривали гору, мистер Конвэй? — спросил тот.

— Да. Замечательный вид. Полагаете, у нее есть имя?

— Она называется Каракал.

— Никогда вроде бы не слышал. Очень высокая?

— Более двадцати восьми тысяч футов.

— Правда? Вот уж не думал, что подобные вершины могут быть где-нибудь за пределами Гималаев. Обследована ли она? И кто сделал замеры?

— Кто же, по-вашему, мой дорогой сэр? Разве монашество и тригонометрия несовместимы?

Конвэй обдумал это заявление и ответил:

— О, конечно, нет, совсем нет. — И вежливо засмеялся. Шутка, на его взгляд, была не ахти какая, но все равно стоило на нее откликнуться.

Вскоре они двинулись к Шангри-ла. Шли в гору все утро, медленно, выбирая самый пологий путь. Но из-за высоты и это требовало большого физического напряжения, так что ни у кого не оставалось сил на разговоры. Китаец в его паланкине путешествовал с удобствами, близкими к роскоши. И можно было

посчитать, что он поступает не по-рыцарски, если бы воображаемая картина с мисс Бринклоу в таком королевском обрамлении не казалась столь нелепой. Конвэй, менее других страдавший от разреженного воздуха, старательно вслушивался в слова, которыми перебрасывались носильщики. По-тибетски он знал очень мало и смог только уловить, что люди радовались возвращению в монастырь. Он не сумел, даже если бы пожелал, продолжить беседу с их руководителем, потому что тот, наполовину спрятанный пологом, закрыв глаза, быстро погрузился в сон, для которого, видимо, настало урочное время.

Солнце пригревало. Голод и жажда если не исчезли, то, во всяком случае, отступили. А воздух — такой чистоты, будто прилетел с другой планеты, — радовал при каждом вдохе. Дышать следовало вдумчиво и размеренно, и это, хотя поначалу доставляло неудобства, постепенно привело их души в состояние почти восторженного спокойствия. Все тело ощущало единый ритм дыхания, движений и мысли; легкие, утратив свой беспорядочный автоматизм, подчинились общей гармонии разума и тела. Конвэй, у которого мистические переживания забавным образом уживались со скептицизмом, обнаружил, что он не без удивления и не без удовольствия воспринимает это новое для него ощущение. Разок-другой он бросил подбадривающие слова в сторону Мэлинсона, но молодой человек был занят преодолением трудностей подъема. Барнард тоже астматически заглатывал воздух, а мисс Бринклоу прислушивалась к некоей битве, развертывающейся в ее дыхательных путях, и по каким-то причинам ничем не хотела обнаруживать этого.

— Мы добрались почти до самого верха, — ободряюще произнес Конвэй.

— Однажды я бежала за поездом и чувствовала себя точно так же, — сказала она.

«Да, — подумал Конвэй, — есть люди, которые уверены, что сидр — это то же самое, что шампанское. Дело вкуса».

С удивлением он обнаружил, что, если не считать общей неясности происходящего, его мало что тревожит и, уж во всяком случае, нет никакого беспокойства за себя лично. Бывают в жизни моменты, когда человек широко распахивает свою душу, подобно тому, как он раскрывает кошелек в тот вечер, когда оказывается, что за развлечение надо платить много больше, чем предполагалось, но зато и неизведанных удовольствий оно тоже сулит гораздо больше. В то утро в долине Каракала, когда трудно было дышать, Конвэй именно так и двигался навстречу новым впечатлениям — охотно, самоотверженно и без волнений. После десяти лет, проведенных в Азии, он научился весьма придирчиво оценивать места, в которые попадал, и события, происходившие с ним; сейчас, должен был он признать, все выглядело необычайно многообещающе.

Они прошли по долине пару миль, и подъем стал круче, но к этому времени солнце скрылось в облаках и даль затянулась серебристой дымкой. Слышался грохот лавин, срывавшихся с заснеженных вершин. Посвежело, и как бы в подтверждение того, что погода в горах меняется очень быстро, вдруг стало отчаянно холодно. Подул ветер, вихрь мокрого снега прибавил участникам похода множество неприятностей, и даже Конвэй на мгновение почувствовал, что идти больше не может. Но

вскоре возникло впечатление, будто подъем кончился. Носильщики остановились, чтобы поудобнее уложить на плечах поручни паланкина. Состояние тяжело дышавших Барнарда и Мэлинсона подсказывало продлить привал, но тибетцы явно поторапливались и знаками показывали, что дальше идти будет легче.

После этих заверений нерадостно было увидеть, как сопровождающие достали и начали разматывать веревки. «Уже собираются вешать нас?» — воскликнул Барнард — весело, как того и требует юмор висельника.

Но вскоре обнаружилось, что проводниками движет менее грозное намерение. Они попросту собирались объединить всех общей связкой, как это обычно делается при восхождениях на гору. Заметив, что Конвэй знает, как управляться с веревкой по-альпинистски, они зауважали его гораздо больше и позволили ему по-своему распорядиться с его спутниками. Он поставил себя после Мэлинсона, так что тибетцы были впереди и сзади, потом следовали Барнард и мисс Бринклоу и, замыкая цепочку, опять тибетцы. От него не скрылось, что, пока их руководитель спал, эти люди склонны были доверить ему, Конвэю, права распорядителя. Он ощутил знакомый прилив сил. Если возникало какое-то трудное дело, он помогал решать его, используя свои основные качества — уверенность, спокойствие и ответственность. В свое время он был превосходным скалолазом и до сих пор мог, несомненно, неплохо справиться с этой ролью.

— Вам придется приглядывать за Барнардом, — полушутя, полусерьезно сказал он мисс Бринклоу, и она ответила с независимостью, достойной орла:

— Я сделаю все, что могу, но знаете, меня никогда прежде не связывали веревкой.

Но следующий отрезок пути, хотя иногда и пришлось поволноваться, оказался все-таки менее тяжким, чем они ожидали. Исчезли трудности с дыханием, которые мучили их на подъеме. Идти надо было по тропе, пробитой в скале вдоль отвесного склона, верх которого терялся в тумане. Туман — возможно, из милосердия — скрывал также пропасть с другой стороны тропинки, хотя Конвэй, любивший оценивать расстояния, не прочь был бы прикинуть на глаз ее глубину. В некоторых местах ширина тропы едва ли достигала двух футов, и его восхищало, как в этих местах носильщики управлялись с паланкином. Поражали и крепкие нервы человека в паланкине, который в таких условиях способен был спокойно спать. Тибетцы вели себя достаточно уверенно, но и они, казалось, повеселели, когда тропа стала шире и пошла понемногу вниз. Потом они начали напевать себе под нос некую варварскую мелодию, которую Конвэй готов был признать оркестровкой Массине, используемой для какого-нибудь тибетского балета. Дождь прекратился, стало теплее.

— Да, ясно, что сами мы никогда бы этой дороги не нашли, — сказал Конвэй, стараясь подбодрить себя и остальных, но Мэлинсон не счел это замечание очень утешительным.

— И что бы потеряли? — возразил он с горечью.

Они шли дальше, теперь круче под гору, и тут Конвэю попался на глаза эдельвейс — первый признак того, что они оказались на более гостеприимных высотах. Но когда он сообщил об этом, Мэлинсон еще сильнее раздосадовался.

— Боже мой, Конвэй, вы что, воображаете себя на прогулке в Альпах? Какое адово пекло ждет нас впереди,

вот что я хотел бы знать. И каков план наших действий по прибытии туда. Что мы собираемся делать?

Конвэй сказал спокойно:

— Если бы ты повидал в жизни столько же, сколько я, ты бы знал, что иногда самое верное ничего не предпринимать. Что-то с тобой происходит, и пусть происходит. Нечто похожее было во время войны. В случаях вроде нашего надо довольствоваться тем, что неприятности чуть-чуть скрашиваются новизной впечатлений.

— Для меня, черт возьми, слишком мудрена эта ваша философия. Не так вы были настроены во время беспорядков в Баскуле.

— Конечно, не так, ведь там была надежда, что своими действиями я смогу повернуть ход событий. Но сейчас, по крайней мере на данный момент, на это рассчитывать не приходится. Мы здесь, потому мы здесь. Вот тебе и вся философия, если ты в ней нуждаешься. Я обычно нахожу в ней точку опоры.

— Наверное, вы понимаете, как тяжело нам придется на обратном пути, когда мы пойдем этой дорогой назад. Целый час мы тащились по краю отвесной скалы, каждый миг можно было соскользнуть вниз. Я все заметил.

— Я тоже.

— Вы тоже? — От волнения Мэлинсон закашлялся. — Наверное, я вам надоел, но как иначе? Мне все кажется подозрительным. По-моему, мы слишком послушно делаем все, чего хотят от нас эти люди. Они припирают нас к стенке.

— Даже если так, без них нам пришлось бы остаться там, внизу, и погибнуть.

— Знаю, что вы рассуждаете логично, но толку в этом все равно не вижу. Боюсь, я не могу так же легко, как вы, смириться с нашим положением. Не могу забыть, что всего два дня назад мы были в консульстве в Баскуле. Меня ужас охватывает, как подумаю о произошедшем с тех пор. Извините. Я измотался. Начинаю понимать, как мне повезло, что не попал на войну. Наверное, то и дело впадал бы в истерику. У меня такое впечатление, будто весь мир вокруг сошел с ума. Я и сам, видно, тронулся, раз так говорю с вами.

Конвэй тряхнул головой:

— Нет-нет, дорогой мой мальчик. Тебе двадцать четыре года, и ты находишься на высоте примерно двух с половиной миль над уровнем моря. Вот причины, из-за которых тебя сейчас охватывают подобные чувства. Мне кажется, ты исключительно хорошо перенес тяжелое испытание. Думаю, лучше, чем удалось бы мне в твоём возрасте.

— А вы не видите этого безумия вокруг нас? Как мы летели над горами, как переживали этот ужасный ветер, и потом умирающий летчик, и встреча с этими молодцами — ну разве не кошмар, не бред, если оглянуться назад?

— Конечно, не без того.

— Тогда хотелось бы мне знать, как вам удастся сохранять такое хладнокровие.

— Действительно хочешь знать? Я тебе скажу, хотя, возможно, ты сочтешь меня циником. Дело в том, что, оглядываясь назад, я вижу и многое другое, столь же

кошмарное. Эх, Мэлинсон, это не единственное безумное место в мире. В конце концов, если тебе нравится вспоминать Баскул, припомни заодно, как перед отъездом мятежники мучили пленных, выжимая из них какие-то сведения. Обычная стиральная доска, очень действенное орудие, конечно, но, кажется, я в жизни не видел ничего более смешного и страшного одновременно. А помнишь, какую последнюю депешу мы получили перед тем, как оборвалась связь? Запрос текстильной фирмы из Манчестера, знаем ли мы, через кого наладить в Баскуле сбыт корсетов! Считаешь, это не тянет на безумие? Поверь мне, попав сюда, мы в худшем случае всего-навсего сменили один вид помешательства на другой. А что касается войны, то если бы тебе выпало быть там, ты вел бы себя так же, как и я, — трясся от страха, но не подавал виду.

Они все еще были заняты разговором, когда пришлось вдруг опять круто взять в гору, и расстояние, потребовавшееся для этого подъема, они преодолели с прежними трудностями для дыхания. Но скоро подъем кончился, туман рассеялся, и они вышли на залитую солнцем равнину. Впереди, и совсем недалеко, виднелась ламаистская обитель Шангри-ла.

На первый взгляд Конвэю показалось, что эта картина возникла перед ним из-за недостатка кислорода. Монастырь действительно имел странный, не совсем правдоподобный вид. Несколько ярко раскрашенных пагод прилепилось к горе. Но ни в одной из них не было угрюмой задумчивости, свойственной замкам на Рейне. Скорее, они походили на хрупкие лепестки выращенного на скале цветка. Смотрелось это величественно и

изысканно. Самый вид обители требовал к себе строго почтительного отношения. И взгляд, исполненный этой почтительности, скользил вверх — по молочно-голубым крышам и потом, оторвавшись от них, поднимался к серым громадам скал, напоминавшим Веттерхорн над Гриндельвальдом.^[17] А там дальше, позади этой горной твердыни, ослепительно сверкающей пирамидой уходили в небеса склоны снежного конуса Каракала. Конвэй подумал, что, может быть, это самый потрясающий горный пейзаж в мире, и он представил себе, какая огромная масса снега и льда давит на скалу и как стойко она выдерживает это давление. Не исключено, что однажды гора расколется и половина великолепия Каракала опрокинется в долину. Он ощутил приятное волнение, размышляя о том, как бы это было страшно и как ничтожна вероятность, что это может случиться.

Не менее увлекательная картина открывалась взгляду, обращенному вниз. Ибо скала почти отвесной гладкой стеной опускалась в расщелину, образовавшуюся в далеком прошлом в результате какого-то катаклизма. Впереди в конце долины сквозь легкую дымку проступала и ласкала глаз зелень. Там был уголок, прикрытый от ветров. Конвэй решил, что это замечательно благодетельствованное природой место, но, если оно обитаемое, то тамошнее население полностью отрезано от мира высокими неодолимыми хребтами. Добраться оттуда можно было только до монастыря. Глядя на него, Конвэй почувствовал, что начинает воспринимать действительность более мрачно. Может, не стоит совсем уж сбрасывать со счетов причитания Мэлинсона. Но это

¹⁷ Веттерхорн — гора, возвышающаяся над курортным городком Гриндельвальд в Швейцарии.

чувство возникло и скоро растворилось в гораздо более глубоком, полумистическом-полусознательном ощущении, что вот она, цель, к которой они стремились, — здесь конец, здесь завершение.

Позднее он не мог ясно припомнить, как они пришли в монастырь, как их принимали и что делалось при встрече, как снимали с них веревки, как вводили в помещение. Этот разреженный эфемерный воздух и фарфоровая голубизна неба были подобны мечте. С каждым вдохом и каждым взглядом Конвэй становился умиротвореннее, так что переставал уже воспринимать и жалобы Мэлинсона, и остроты Барнарда, и скромную леди, готовую достойно встретить наихудшее, — образ, в котором выступала мисс Бринклоу. Он смутно помнил свое удивление, когда обнаружилось, что внутри монастыря просторно, хорошо протоплено и вполне чисто. Но времени для других наблюдений не было, так как китаец покинул свой паланкин и уже приглашал следовать за собой, переходя из комнаты в комнату. Теперь он был очень любезен.

— Я должен извиниться, — сказал он, — что по дороге предоставил вас самим себе, но, по правде говоря, путешествия такого рода мне не по силам, и я вынужден отдыхать. Надеюсь, путь вас не очень измотал?

— Мы выдержали, — ответил Конвэй с сухой усмешкой.

— Прекрасно. Ну, а теперь, если вы последуете за мной, я покажу вам ваши покои. Конечно, вы хотите принять ванну. Оборудованы мы на сей счет просто, но, полагаю, вы не будете в обиде.

В этот момент все еще задыхавшийся Барнард проговорил, жадно глотая воздух:

— Н-да, пока не могу сказать, чтобы мне нравился ваш климат, воздух как-то застревает у меня в груди, но вид из ваших окон — это дьявольски красиво. Мы что, должны становиться в очередь в ванную-комнату, или у вас тут американский отель?

— Думаю, вы всем будете вполне довольны, мистер Барнард.

Мисс Бринклоу чопорно кивнула:

— Хотела бы на это надеяться, да-да.

— А потом, — продолжал китаец, — буду весьма польщен, если вы все присоединитесь ко мне за ужином.

Конвэй вежливо поблагодарил. Лишь Мэлинсон ничем не обнаружил своего отношения к этим неожиданным удобствам. Как и Барнард, он продолжал страдать от высоты, но, сделав над собой усилие, воскликнул:

— А еще потом, если вы не возражаете, мы решим, как отсюда выбраться! Это нельзя откладывать — я по крайней мере так считаю.

Глава четвертая

— Ну вот, видите, — говорил Чанг, — не такие уж мы варвары...

Теперь, после всех накопившихся к вечеру впечатлений, у Конвэя не было оснований возражать. Легкость в теле и ясность мысли наполняли его таким приятным чувством, которое могло возникнуть только в подлинно цивилизованной среде. Пока что в Шангри-ла он находил все необходимое и гораздо больше того, на что мог рассчитывать. Во времена, когда даже в Лхасе появились телефонные аппараты, может быть, и не столь удивительным казалось наличие центрального отопления в тибетском монастыре, но Конвэя поражало соседство западного санитарно-гигиенического оборудования с многочисленными проявлениями восточного традиционализма. Например, светло-зеленая фарфоровая ванна, в которой он с наслаждением плескался, представляла собой изделие, выпущенное, согласно фабричному знаку, в Акроне, штат Техас. Но приставленный слуга-туземец обихаживал его на китайский манер, промывал ему уши и ноздри и протирал веки под глазами тонкой шелковой тряпочкой. Принимая все это, Конвэй размышлял, уделяется ли такое же внимание троим его спутникам.

Он почти десять лет прожил в Китае, не всегда в больших городах, и считал это время счастливейшим в своей жизни. Ему нравились китайцы, среди них он чувствовал себя дома. Особенно он любил китайскую кухню с ее тонкими полутонами вкусовой гаммы, и поэтому первая же трапеза в Шангри-ла была для него встречей с приятным и знакомым. Он также заподозрил,

что в пищу подмешана какая-то травка или снадобье, восстанавливающее дыхание, так какой не только сам стал дышать свободнее, но заметил облегчение, которое почувствовали и его спутники. От его внимания не ускользнуло, что Чанг не съел ничего, кроме нескольких зеленых листков салата, и не притронулся к вину.

— Извините меня, — объяснил он, — но у меня очень строгая диета. Я обязан беречься.

Он и раньше говорил в таком духе, и Конвэй пытался угадать, какой же недуг его мучает. Теперь, разглядывая Чанга вблизи, он затруднялся определить его возраст. Мелкие и как бы неопределенные черты монаха, равно как и кожа, напоминавшая мокрую глину, придавали ему вид то ли молодого человека, состарившегося раньше времени, то ли, наоборот, удивительно хорошо сохранившегося старика. Он, несомненно, обладал какой-то привлекательностью. От Чанга исходило легкое благоухание, слишком тонкое, чтобы его можно было уловить, если о нем не думать. В своем расшитом халате из синего шелка с обычными боковыми разрезами в подоле, в штанах цвета дождливого неба, тесно обхватывающих лодыжки, он излучал холодное обаяние, которое пришлось Конвэю по вкусу, хотя он и понимал, что не всем оно может нравиться.

Атмосфера и впрямь была скорее китайской, чем тибетской. И это внушало Конвэю приятное ощущение, будто он попал домой, хотя в этом случае он предполагал, что его спутники воспринимают дело иначе. Комната тоже порадовала его. Удивительно правильными были соотношения ее ширины, длины, высоты. Скромным украшением служили обои и пара

предметов лакированной мебели. Свет поступал из бумажных фонариков, которые своей неподвижностью свидетельствовали об отсутствии сквозняков.

Благодатный покой охватывал его душу и тело, и когда на ум снова пришли предположения о подмешанном зелье, он почувствовал, что это его не беспокоит. Что бы там ни было, если вообще было хоть что-нибудь, но Барнард больше не задыхался, а Мэлинсон перестал язвить, и оба они с аппетитом поглощали пищу, явно предпочитая есть, а не разговаривать. Конвэй тоже был голоден и несколько не жалел, что этикет требовал не спешить с началом серьезного разговора. Ему никогда не нравилось суетиться в обстановке, которая приятна сама по себе, поэтому нынешнее положение вполне его устраивало. До такой степени, что он дал выход своему любопытству, только закурив сигарету. Обращаясь к Чангу, он заметил:

— Судя по всему, постояльцы в вашей обители благоденствуют и очень гостеприимно встречают чужестранцев. Хотя сомневаюсь, чтобы к вам часто попадали люди из других краев.

— Воистину нечасто, — ответил Чанг все с той же размеренностью и достоинством. — Это непосещаемая часть мира...

Конвэй улыбнулся:

— Мягко сказано. У меня такое впечатление, что я никогда не видел места, более отрезанного от мира. Здесь могла бы расцвести культура, не испорченная никакими внешними воздействиями.

— Что вы подразумеваете, говоря о нежелательных воздействиях?

— Имею в виду джаз, кинотеатры, огни рекламы и так далее. Водопровод и канализация у вас в высшей степени современные, и, на мой взгляд, это единственное достижение, которое Восток может взять у Запада с несомненной для себя пользой. Я часто думаю, как повезло в свое время римлянам: их цивилизация продвинулась до изобретения горячих ванн и при этом удержалась от рокового шага — освоения машинной техники.

Конвэй говорил с легкостью разом нахлынувшего вдохновения. Но хотя речь его и была достаточно искренней, все же в ней присутствовало желание повернуть разговор в нужную сторону. Он умел вести беседу. И лишь забота о соблюдении границ, установленных сверхизысканной вежливостью, мешала ему проявить более откровенное любопытство.

У мисс Бринклоу, однако, не было подобных внутренних оков.

— Пожалуйста, — сказала она прямолинейно, — расскажите нам, что представляет собой эта обитель.

Чанг слегка приподнял брови. Он как бы мягко выражал свое несогласие с такой настойчивостью.

— Сделать это, мадам, будет для меня величайшим удовольствием. В меру своих способностей. Что именно хотели бы вы узнать?

— Прежде всего сколько вас здесь и кто вы по национальности? — Было очевидно, что ее приверженная порядку мысль не отклонялась от тех профессиональных задач, которые мисс Бринклоу выполняла в Баскуле.

Чанг ответил:

— Тех, кто достиг полного статуса ламы, около пятидесяти. И есть еще несколько человек вроде меня, кто еще не пришел к полному посвящению. В должное время мы, надо надеяться, тоже станем ламами. Что касается нашего национального происхождения, то тут собрались представители очень многих народов, хотя, естественно, большинство — китайцы и тибетцы.

Мисс Бринклоу поспешила сделать вывод, хотя бы и ошибочный.

— Понятно. Значит, это действительно туземный монастырь. А ваш главный лама — тибетец или китаец?

— Нет.

— А англичане среди вас есть?

— Несколько.

— Боже мой, это просто замечательно! — Мисс Бринклоу остановилась, чтобы перевести дыхание, и тут же продолжала: — А теперь скажите мне, какая у вас вера?

Конвэй откинулся на стуле в ожидании забавы. Ему всегда нравилось наблюдать, как сталкиваются противоположные образы мысли. И сцена, в которой выступали, с одной стороны, выказываемая мисс Бринклоу прямота честолюбивой школьницы, а с другой — ламаистская философия, — эта сцена обещала ему немалое развлечение. Вместе с тем он не мог допустить, чтобы их хозяин в испуге замкнулся, и потому поспешил сгладить углы. Примирительным тоном он сказал:

— О, это довольно-таки сложный вопрос.

Но мисс Бринклоу вовсе не собиралась что-либо смягчать. Вино, успокаивающе подействовавшее на других, ей только прибавило живости.

— Конечно, — сказала она, сопровождая свою речь величественным жестом, — я предана истинной религии. Но я человек достаточно широких взглядов и могу признать, что другие люди, то есть, я хочу сказать, иноземцы, очень часто искренне придерживаются своих воззрений. И естественно, мне не следует надеяться, что здесь, в этом монастыре, я встречу людей, которые будут во всем со мною согласны.

Ее уступка вызвала у Чанга кивок признательности.

— Но почему же нет, мадам? — ответил он на своем четком и приятно звучащем английском языке. — Должны ли мы считать, что если некая вера истинна, то все другие обязательно ложны?

— Ну разумеется. Это же совершенно очевидно.

Конвэй опять вмешался:

— Право же, я думаю, нам лучше не затевать спор. Но мисс Бринклоу ставит вопрос, занимающий, признаться, и меня, и это вопрос об идее, которая привела к созданию обители, столь мало похожей на другие.

Чанг ответил размеренно и негромко:

— Если попытаться выразить суть дела в очень немногих словах, мой дорогой сэръ, то основу нашей веры я бы определил как умеренность. Воздержание от всего лишнего, избыточного — вот добродетель, которую мы проповедуем. И сюда, если вы простите этот парадокс, включается также непринятие избыточной

добродетельности. Наблюдая за долиной, которую вы видели и где под руководством нашего ордена живут несколько тысяч человек, мы убедились, что соблюдение этого принципа позволяет достигать значительных степеней счастья. Мы правим с умеренной строгостью и взамен получаем умеренное послушание. Я думаю, у меня есть основания утверждать, что наши люди ведут умеренно трезвый образ жизни, умеренно благонравны и умеренно честны.

Конвэй улыбнулся. Ему понравилось, как это было сказано, и кроме того, в какой-то мере отвечало его собственным душевным наклонностям.

— Кажется, понимаю. И догадываюсь, что люди, встретившие нас сегодня утром, — это жители вашей долины?

— Да. Надеюсь, во время путешествия вы не заметили у них каких-либо порочных качеств?

— О нет, никаких. Я, конечно же, я радовался их умеренному твердому шагу. Вы, между прочим, определенно указали на то, что правило умеренности распространяется именно на них. Должен ли я понимать, что оно не относится к самим членам вашего монастыря?

Но на сей раз Чанг лишь покачал головой:

— Сожалею, сэра, но вы затронули предмет, который мне не дано права обсуждать. Могу лишь добавить, в нашей общине сосуществуют различные веры и обычаи, но по отношению к ним мы в большинстве своем ведем себя как умеренные еретики. Я глубоко сожалею, что сейчас не могу сказать больше.

— Пожалуйста, не извиняйтесь. Вы оставляете меня во власти приятнейших размышлений. — Необычность

собственного голоса, да и в ощущениях тела, вновь создала у Конвэя впечатление, что его слегка одурманили. Мэлинсон, похоже, находившийся под воздействием того же успокоительного снадобья, воспользовался все-таки случаем заметить:

— Это было очень интересно, но, право же, я полагаю, пришло время обсудить, как мы будем отсюда выбираться. Сколько нам может быть выделено носильщиков?

Вопрос, столь практический и так жестко поставленный, проломил наст мягкой учтивости, под которым не нашлось никакой твердой опоры.

После довольно продолжительного молчания Чанг ответил:

— К сожалению, мистер Мэлинсон, я не тот человек, к которому с этим следует обращаться. Но в любом случае, мне кажется, это никак не может быть устроено сейчас же.

— Но что-то должно быть сделано! Нас всех ждет работа, а друзья и родные будут беспокоиться насчет нашей судьбы. Мы просто обязаны вернуться. Мы признательны вам за такой прием, но мы никак не можем прозябать здесь без дела. Если это осуществимо, мы хотели бы отразиться в путь не позднее завтрашнего утра. Надеюсь, среди ваших людей найдутся добровольцы, чтобы нас сопровождать, и мы со своей стороны, конечно, не оставим их без должного вознаграждения.

Последние слова Мэлинсон произносил в нервной поспешности, будто боялся, что ему станут отвечать, прежде чем он успеет договорить до конца. Но из Чанга

он вытянул только спокойный и не лишенный скрытого упрека ответ:

— Да, но все это едва ли входит в круг моих полномочий.

— Нет? Ну, тогда, может быть, вы в состоянии сделать хоть что-нибудь. Если вы можете дать нам крупномасштабную карту местности, это будет очень хорошо. Похоже, нам предстоит долгое путешествие, и это тем более говорит в пользу раннего старта. У вас, надеюсь, есть карты?

— Да, у нас их очень много.

— Вот мы и позаимствуем парочку-другую, если не возражаете. Позднее мы сможем их вернуть. Ведь вы, полагаю, время от времени общаетесь с внешним миром? И кстати, хорошо было бы заранее подать отсюда весточку, чтобы успокоить наших друзей. Как далеко от монастыря ближайшее телеграфное отделение?

Морщинистое лицо Чанга выражало безграничное терпение. Но он не ответил. Мэлинсон чуть подождал и снова взялся за свое:

— Ладно, как вы действуете, когда вам что-нибудь нужно? Что-нибудь из цивилизованного мира, я хочу сказать. — Легкий испуг начал появляться в его глазах и голосе. Вдруг он резко отодвинул свое кресло и встал. Он побледнел и устало провел рукой полбу. — Я так устал, — тихо проговорил он, оглядывая комнату. — Мне кажется, никто из вас вовсе и не собирается мне помочь. Тогда я задам только один простой вопрос. Разумеется, вы не можете не знать ответа. Раз уж в ваших ваннах комнатах установлено все это современное оборудование, то как оно сюда попало?

Опять воцарилась тишина.

— Значит, не хотите говорить? Это, я полагаю, составляет часть тайны, скрывающей и все прочее. Конвэй, должен заметить, что вы ведете себя как последняя размазня. Почему вы не добьетесь истины? Я совершенно без сил сейчас... но... завтра, видимо... мы должны уйти завтра... это важно...

Он соскользнул бы на пол, если бы Конвэй не подхватил его и не помог сесть в кресло. Потом Мэлинсон немного пришел в себя, но в разговор больше не вступал.

— Завтра ему будет лучше, — мягко сказал Чанг. — Воздух здесь такой, что чужестранцы поначалу с трудом его переносят, но потом быстро осваиваются.

Конвэй почувствовал, как он и сам словно выходит из забытья.

— Все это немного утомило его, — спокойно и мягко сказал он. И добавил более оживленно: — Мы все, думаю, испытываем то же самое. Наверное, лучше нам отложить разговоры и отправиться по кроватям. Барнард, не поможете ли Мэлинсону? И вам, мисс Бринклоу, тоже, я уверен, не мешает выспаться. — Видимо, был подан какой-то знак, потому что тут же появился слуга. — Да, пошли... спокойной ночи... спокойной ночи... я иду следом за вами.

Конвэй почти вытолкнул их из комнаты и затем, отставляя в сторону всякую обходительность в противоположность своему прежнему поведению, обратился к хозяину. Упрек Мэлинсона задел его за живое.

— Теперь так, сэ, я не хочу отнимать ваше время и поэтому лучше сразу перейду к делу. Мой друг показал себя несдержанным. Но я его не виню. Он совершенно справедливо хочет ясности. Мы должны уйти, но не можем этого сделать без вашей помощи. Я понимаю, конечно, что тронуться в путь завтра невозможно, и для меня лично побыть здесь, по возможности недолго, было бы весьма интересно. Но, судя по всему, мои спутники относятся к этому иначе. Так что, если лично вы, как говорите, ничего не можете сделать, то сведите нас, пожалуйста, с кем-нибудь из тех, кто может.

Китаец ответил:

— Вы мудрее своих друзей, мой дорогой сэ, и поэтому менее нетерпеливы. Я рад.

— Это не ответ.

Чанг засмеялся. В его отрывистом, тонкоголосом хихиканье было столько явной искусственности, что Конвэй угадал: это разыгрывается положенный в таких случаях вежливый отклик на некую шутку, якобы прозвучавшую в устах собеседника, способ, каким китаец «спасает лицо» в неловкий для него момент.

— Уверен, что у вас нет причин тревожиться, — ответил наконец Чанг. — Несомненно, когда-нибудь мы сможем предоставить вам всю необходимую помощь. Существуют, как вы можете догадаться, трудности, но если все мы подойдем к делу разумно и без ненужной спешки...

— Я не предлагаю спешить. Я лишь спрашиваю о носильщиках.

— Видите ли, мой дорогой сэ, это отдельная тема. Я очень сильно сомневаюсь, что легко удастся найти

людей, готовых помочь вам. Их родной дом в долине, и они вовсе не намерены покидать его ради долгого и тяжкого путешествия.

— Однако их можно к этому склонить, ведь сопровождали они вас сегодня утром?

— Сегодня утром? О, это совсем другое дело.

— В каком смысле? Разве вы не были настроены на долгое путешествие, когда я и мои друзья попались вам на дороге? — Ответа на это не последовало, и тогда Конвэй продолжил более спокойным тоном: — Я понимаю. Значит, мы встретились не случайно. Честно сказать, я подозревал это все время. Итак, вы пришли туда с сознательным намерением перехватить нас. А это заставляет думать, что вы знали о нашем прибытии заранее. И интересный вопрос — как?

Его слова потревожили спокойное течение их беседы. Свет от фонаря падал на лицо китайца — невозмутимое и неподвижное. Неожиданно Чанг пошевелился. Отодвинул шелковую занавеску, закрывавшую дверь на балкон. Потом, прикоснувшись к руке Конвэя, он вывел того на холодный чистый воздух.

— Вы догадливы, — сказал он задумчиво, — но не совсем точны в выводах. По этой причине я бы советовал не волновать ваших друзей абстрактными разговорами. Поверьте, ни вам, ни им в Шангри-ла не угрожает никакая опасность.

— Но ведь не опасность вызывает наше беспокойство. Мы волнуемся по поводу задержки.

— Понимаю. Некоторое промедление может быть неизбежным.

— Если оно будет недолгим и если оно действительно неизбежно, тогда, естественно, придется потерпеть в меру наших сил.

— Очень-очень разумно, поскольку мы ничего иного и не желаем, кроме как сделать для вас и ваших друзей приятной каждую минуту, которую вы здесь проведете.

— Все это очень мило, и, повторяюсь, не могу сказать, чтобы лично меня это не устраивало. Здесь много нового и необычного, и в любом случае нам нужен некоторый отдых.

Он взглянул вверх на сверкающую пирамиду Каракала. В ярком лунном свете казалось, достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться до нее, — так отчетливо выделялась она на фоне простиравшейся за нею глубокой синевы.

— Завтра, — сказал Чанг, — вы, возможно, найдете все это еще более интересным. А что до отдыха, то в мире едва ли сыщется много мест, где можно лучше, чем здесь, избавиться от утомления.

Действительно, пока Конвэй продолжал любоваться горой, глубокий покой окутывал его. Будто зрелище завораживало душу не меньше, чем глаза. Стояло почти полное безветрие, так не похожее на штормовые порывы прошлой ночи. Долина представилась ему защищенной со всех сторон гаванью, над которой маяком высился Каракал. Сходство еще более возросло, когда вершина горы засверкала голубым блеском, — ледник отражал лунный свет. Что-то толкнуло Конвэя осведомиться о буквальном смысле названия горы, и ответ Чанга прозвучал как эхо его собственных мыслей.

— На диалекте долины «Каракал» означает «Голубая луна», — объяснил китаец.

Конвэй ни с кем не стал делиться своим заключением о том, что обитатели Шангри-ла каким-то образом были осведомлены о предстоявшем прибытии их группы и ждали их. Сначала он думал: сказать надо, и это важно. Но к утру сознание важности сделанного открытия уже мало его трогало. Все это сохраняло разве что чисто теоретическое значение, и он не захотел стать источником еще большего беспокойства своих спутников.

Он думал, что место, куда они попали, поистине странное, что поведение Чанга прошлым вечером далеко не обнадеживало и что они, в сущности, пленники пока здешние власти не захотят посодействовать их возвращению. Было ясно: на нем лежала обязанность побудить монастырское руководство к этому. В конце концов, он ведь являлся представителем правительства Великобритании, и никуда не годилось, чтобы обитатели тибетского монастыря отказывали ему в удовлетворении законной просьбы... Таков, несомненно, был официальный взгляд на вещи. И его следовало держаться. А какая-то часть личности Конвэя всегда стремилась соответствовать общепринятому мнению.

Никто лучше его не умел сразу войти в роль сильного человека, коль скоро этого требовала обстановка. Сейчас его память восстанавливала последние дни перед эвакуацией. Его поведение тогда должно было обеспечить ему по меньшей мере возведение в рыцари и посадить кого-то за сочинение книги под названием «С Конвэем в Баскуле», с последующим присуждением ей премии школы Хенти.^[18]

¹⁸ Джордж Хенти (1832–1902) — знаменитый военный корреспондент, написавший

Принять на себя руководство десятками людей всех рангов и состояний, взять их под защиту и приютить в тесном помещении консульства, оградить от разбушевавшихся повстанцев, от агитаторов, пылающих ненавистью к чужеземцам, а потом запугать и умаслить главарей мятежа, добиться, чтобы они разрешили вывезти всех по воздуху, — это, он чувствовал, было отнюдь не малым достижением. Не исключено, что, дергая за ниточки и сочиняя бесконечные рапорты, он смог бы кое-что извлечь из случившегося — к очередному сроку новогодних награждений.

По крайней мере его поведение тогда завоевало пылкое восхищение Мэлинсона. К сожалению, теперь молодой человек испытывал еще большее разочарование. Жаль, конечно, но Конвэй знал: он нравится окружающим лишь потому, что они его не понимают. Он вовсе не принадлежал к числу по-настоящему твердых деятелей, тех самых людей с тяжелой челюстью, которые всегда готовы пустить в ход молоток и клещи строителей империи. Сходство возникало лишь в пределах одноактной пьесы, разыгрывавшейся время от времени по договоренности с судьбой и министерством иностранных дел. И за зарплату — размер ее каждый мог узнать из статистического справочника Уитакера.

Истина же состояла в том, что загадка Шангри-ла и его собственного здесь появления все больше его очаровывала. Во всяком случае, ему трудно было уловить в себе хоть какие-нибудь признаки огорчения. Служба постоянно забрасывала его в разные уголки мира, и чем более разные они были, тем меньше, как правило, он

страдал от тоски. Чего же тогда брюзжать, если случайно, а не из-за клочка бумаги из Уайтхолла он оказался в самом странном из всех виденных им мест?

Да он и на самом деле не был недоволен. Поднявшись утром и увидев в окне мягкое голубое небо, он почувствовал, что ему вовсе не хочется оказаться где-то еще, скажем, в Пешаваре или на Пиккадилли. Он был рад отметить, что ночной отдых умиротворяюще подействовал и на других. Барнард отпускал веселые шутки насчет постелей, ванн, завтрака и прочих удобств, обеспеченных здешним гостеприимством. Мисс Бринклоу признала, что самое тщательное обследование выделенных ей апартаментов не позволило обнаружить ни одного из тех изъянов, которые она ожидала найти. Даже Мэлинсон изображал грустное полупримирие.

— Видимо, — бормотал он, — сегодня мы так и не выберемся, если кто-нибудь не сделает решительного шага. Здесь нас окружают восточные люди. От них не добиться быстрых и эффективных действий.

Конвэй принял это замечание. Мэлинсон покинул Англию почти год назад. Достаточно давно, чтобы прийти к подобному выводу. Вероятно, он повторял бы то же самое и после двадцати лет жизни на Востоке. И это, конечно, соответствовало истине — до некоторой степени. Но сам Конвэй вовсе не считал, будто восточные люди отличаются чрезмерной нерасторопностью. Скорее он придерживался мнения, что англичане и американцы насаждают на этот мир, пребывая в состоянии непреходящей горячки. Он едва ли мог рассчитывать, будто какой-нибудь его соплеменник-европеец разделит его мнение. Но сам убеждался в этом все больше — с годами и приращением опыта. С другой стороны, правдой

было и то, что Чанг показал себя мастером тянуть время и что для нетерпения Мэлинсона имелись веские причины. Конвэю хотелось бы разделить чувства юноши. Это существенно облегчило бы тому жизнь. Он сказал:

— Наверное, нам лучше подождать и посмотреть, что принесет день. Видимо, слишком оптимистично было надеяться, будто они пошевелятся ради нас еще вчера вечером.

Мэлинсон обжег его взглядом.

— Кажется, вы полагаете, я глупо выглядел со своими настойчивыми требованиями? Иначе я не мог. Мне показалось, да и сейчас кажется: этот друг-китаец ведет себя чертовски подозрительно. Удалось вам выжать из него что-нибудь вразумительное, когда я ушел спать?

— Мы беседовали недолго. Большею частью его речь была туманной и ни к чему не обязывающей.

— Сегодня нам надо будет поскрести его как следует.

— Конечно, — согласился Конвэй, явно не радуясь этому предложению. — Ну, а пока что перед нами замечательный завтрак.

На столе у них были грейпфруты, чай и лепешки-чапати, прекрасно приготовленные и красиво поданные. К концу завтрака в комнату вошел Чанг и с легким поклоном начал выдавать обычные вежливые приветствия, которые по-английски звучали несколько напыщенными. Конвэй предпочел бы говорить по-китайски. Но пока он ничем не обнаруживал своего знания каких-либо восточных языков. Он полагал: эту карту полезно до поры до времени припрятать в рукаве.

Он с серьезным видом выслушал любезности Чанга и заверил его, что спал хорошо и чувствует себя гораздо лучше. Чанг выразил свое удовлетворение и добавил:

— Воистину, как говорит ваш национальный поэт, «сон, распускающий клубок заботы».^[19]

Этот всплеск эрудиции не вызвал теплого отклика со стороны Мэлинсона. С оттенком презрительности, каковая всегда просыпается в чувствах молодого здравомыслящего англичанина, едва только дело коснется поэзии, Мэлинсон сказал:

— Вы, видимо, имеете в виду Шекспира, хотя я и не припоминаю у него этих слов. Но я знаю другое изречение: «Не рассказывай, как будешь уходить, а просто уходи». Рискую показаться невежливым, но это как раз то, что сейчас у всех у нас на уме. И я хочу немедленно отправиться на поиск носильщиков в это утро, если не возражаете.

Китаец принял ультиматум спокойно и ответил с должной обстоятельностью:

— Сожалею, но должен вас уверить в бесполезности подобного занятия. Боюсь, у нас тут не найдется людей, которые согласятся сопровождать вас в путешествии, грозящем увести их так далеко от родного очага.

— Боже мой, вы же не надеетесь, что мы будем считать это за ответ, или как?

— Искренне сожалею, но другого ответа предложить не могу.

¹⁹ Шекспир У., Макбет, акт II, сцена 2. Перевод М. Лозинского.

— Мне кажется, что со вчерашнего вечера ваша позиция изменилась, — вмешался Барнард. — Вчера вы не так твердо стояли на своем.

— Я не хотел вас расстраивать, когда вы были так утомлены с дороги. Теперь, после освежающей ночи, я надеюсь, вы сможете разумнее оценить положение вещей.

— Послушайте, — быстро заговорил Конвэй, — эти неопределенности и недомолвки ничего не дадут. Вы знаете, мы не можем оставаться здесь бесконечно. И очевидно, мы не способны выбраться сами. Что вы в таком случае предлагаете?

С улыбкой, предназначавшейся исключительно для Конвэя, Чанг произнес:

— Мой дорогой сэръ, мне доставляет удовольствие сама мысль о предложении, которое я сейчас сделаю. На просьбу вашего друга сказать мне нечего. Но на вопрос мудрого человека ответ всегда найдется. Возможно, вы помните, что вчера опять-таки вашим другом было замечено, будто у нас время от времени происходит общение с внешним миром. Совершенно верно. Время от времени нам необходимо получать кое-какие вещи с далеких складов, и у нас принято должным образом обеспечивать эти поставки. Нет нужды утомлять вас объяснениями, как это делается и какие тут соблюдаются формальности. Важно то, что в скором времени ожидается поступление очередной партии груза, и поскольку люди, которые его доставят, будут потом возвращаться, вы сумеете, мне кажется, договориться с ними. Лучшего я просто не могу придумать и надеюсь, когда они придут...

— А когда они придут? — грубо прерван его Мэлинсон.

— Точную дату, конечно, назвать невозможно. Вы и сами убедились, как тяжело передвигаться в этой части мира. Сотни разных обстоятельств создают неопределенность. Превратности погоды...

Конвэй снова вмешался:

— Давайте внесем ясность. Вы предлагаете нам нанять носильщиками людей, которые в скором времени ожидаются здесь с грузом. Это неплохая идея, но нам надо знать немного больше. Первое, и вы этот вопрос уже слышали, когда именно вы ждете этих людей? И второе — куда они нас проводят?

— Последний вопрос вы должны будете задать им.

— Доведут ли они нас до Индии?

— Я едва ли могу вам ответить.

— Хорошо, ответьте на первый вопрос. Когда они будут здесь? Я не спрашиваю точной даты, я просто хочу иметь представление, о чем идет речь — о следующей неделе или о будущем годе?

— Возможно, они появятся здесь в течение месяца. Вероятно, не позднее, чем в пределах двух месяцев.

— Или трех, четырех, пяти месяцев, — с горячностью вступил в разговор Мэлинсон. — И вы полагаете, что мы будем сидеть здесь в ожидании, когда этот конвой, или караван, или как он там называется, захватит нас с собой бог ведает куда, в какое-то неопределенное время в отдаленном будущем?

— Полагаю, сэр, что выражение «отдаленное будущее» едва ли уместно. Если не произойдет ничего

непредвиденного, вам придется прожить здесь не больше, чем я сказал.

— Но два месяца! Два месяца в таком месте! Это за пределами мыслимого! Конвэй, убежден, что это не укладывается в вашей голове. Давайте так — две недели и ни дня больше!

Чанг оправил на себе халат, как бы подчеркивая этим жестом, что соглашение состоялось.

— Сожалею. Я не хотел никого обидеть. Монастырь по-прежнему предлагает вам все свое гостеприимство на весь срок, в течение которого вы, к вашему огорчению, вынуждены будете оставаться здесь. Больше мне нечего сказать.

— Да и нужды нет, — с яростью отметил Мэлинсон. — И если вы думаете, будто можете вертеть нами, как вам заблагорассудится, то скоро сумеете убедиться в своей глубочайшей ошибке. Мы найдем носильщиков, не беспокойтесь. Можете кланяться и гнуться и лепетать что угодно...

Конвэй предостерегающе тронул руку Мэлинсона. В гневе тот вел себя, как дитя. Он позволял себе высказывать вслух все, что лезло в голову, не считаясь ни со смыслом, ни с обстановкой. Конвэй готов был все это простить человеку, таким образом устроенному и попавшему в подобные обстоятельства, но он опасался, что это оскорбит утонченного и чувствительного китайца. К счастью, проявив такт, Чанг стремительно удалился. Он ушел и сразу исключил возможность нарваться на худшее.

Глава пятая

Остаток утра они провели, обсуждая сложившееся положение. Для четырех человек, которые при обычном течении жизни роскошествовали бы в клубах и миссионерских покоях Пешавара, было, конечно, тяжелым испытанием оказаться вдруг лицом к лицу с необходимостью провести два месяца в тибетском монастыре. Но с другой стороны, потрясение, пережитое по дороге сюда, не оставило у них сил как для возмущения, так и для удивления. Даже Мэлинсон после первой своей вспышки поддался настроению недоуменного фатализма.

— Я уже не могу спорить, Конвэй, — сказал он, раздраженно попыхивая сигаретой. — Вы знаете, как я все это воспринимаю. Я все время говорил, что тут творится нечто странное. Нечистое дело. Я был бы рад выбраться сию же минуту.

— Я тебя ни в чем не упрекаю, — ответил Конвэй. — К сожалению, вопрос не в том, кому из нас все это нравится или не нравится. Речь идет о том, что все мы должны смириться. Если эти люди утверждают, будто не могут дать носильщиков, то, откровенно говоря, нам ничего не остается, как ждать, когда придут те, другие. Не хочется признавать нашу полную беспомощность, но боюсь, так оно и есть.

— Вы хотите сказать, что мы должны торчать здесь целых два месяца?

— Не вижу, какой у нас есть выбор.

Мэлинсон стряхнул пепел сигареты, выказывая деланное безразличие.

— Тогда ладно. Пусть два месяца. А теперь давайте дружно кричать «ура» по этому поводу.

Конвэй продолжил:

— Не понимаю, почему наше нахождение здесь должно оказаться намного хуже двухмесячного пребывания в любой другой изолированной части света. Люди наших профессий привыкли, что их посылают в самые неожиданные места. Думаю, могу это сказать о каждом из нас. Конечно, для тех, у кого есть родные и друзья, это плохо. Лично мне в этом отношении повезло. Не могу себе представить, кто бы стал всерьез обо мне беспокоиться. А что до моей работы, какую бы мне там ни прочили, с ней справится и кто-нибудь другой.

Он повернулся к остальным, словно приглашая каждого объяснить, что означает такой поворот судьбы для него лично. Мэлинсон не стал распространяться о себе, но Конвэй и так был в курсе его проблем. В Англии его ждали родители и девушка, что делало его жизнь достаточно трудной.

Барнард, с другой стороны, охотно откликнулся и выказал то благодушие, к которому Конвэй уже почти привык.

— Ну что ж, думаю, в этом смысле и я неплохо устроился, поэтому два месяца заключения меня не погубят. Что касается моего семейства в далеком родном городе, никто и бровью не поведет. Я всегда был негодным человеком по части соблюдения сроков переписки.

— Вы упускаете из виду, что наши имена появятся в газетах, — напомнил ему Конвэй. — Всех нас объявят пропавшими без вести, и люди, естественно, будут думать худшее.

Барнард встрепенулся и какое-то мгновение казался смущенным, но потом ответил с легкой усмешкой:

— А, да, это правда, но меня это не касается, уверяю вас.

Конвэй был рад подобному благодушию, но слова Барнарда показались ему немного загадочными. Он обернулся к мисс Бринклоу. Во время беседы с Чангом она не сказала ни слова. Конвэй полагал, что у нее тоже будет относительно мало тревог личного порядка. Она весело заметила:

— Как говорит мистер Барнард, два месяца здесь — не основание, чтобы поднимать шум... Все равно, где находится тому, кто состоит на службе у Господа. Провидение послало меня сюда. Я чувствую себя призванной.

Такой взгляд на вещи показался Конвэю весьма удобным — при сложившихся-то обстоятельствах.

— Я уверен, — сказал он ободряюще, — что ваше миссионерское общество будет вами довольно, когда вы вернетесь. Вы сможете предоставить им много полезной информации. В этом смысле мы все обогатились впечатлениями. Это должно нас в некоторой степени утешать.

Разговор стал общим. Конвэя весьма удивило, как легко Барнард и мисс Бринклоу смирились с неизбежностью. Такое положение вещей успокоило его, поскольку теперь оставался лишь один недовольный. Но

и Мэлинсон после напряженных долгих пререканий переживал некое притупление чувств. Он все еще был не в себе, но уже старался найти плюсы в сложившейся ситуации.

— Только небеса ведают, какое занятие мы здесь себе найдем! — воскликнул он.

Однако же сам факт, что у него вырвались эти слова, свидетельствовал о попытке примириться с неизбежным.

— Главным образом мы должны стараться не раздражать друг друга, — сказал Конвэй. — К счастью, места здесь, кажется, хватает, и избытка обитателей не наблюдается. Пока, если не считать слуг, мы видели только одного здешнего жителя.

Барнарду удалось найти еще одно основание дня оптимизма.

— С голоду не умрем. По крайней мере если кормежка, которую мы получали до сих пор, более или менее соответствует здешнему среднему уровню. Вы знаете, Конвэй, ведение хозяйства тут наверняка требует огромного количества твердой валюты. Эти ванны, например, стоят больших денег. Но я не вижу, чтобы кто-нибудь что-либо здесь зарабатывал. Разве только эти ребята в долине, но и тогда они не смогли бы производить достаточно продукции на экспорт. Хотел бы я знать, не добывают ли они полезные ископаемые.

— Все это место опутано проклятой тайной, — отозвался Мэлинсон. — Готов утверждать, у них припрятаны горшки с деньгами, как у иезуитов. А что до ванн, то, вероятно, их подарил какой-нибудь миллионер-жертвователь. В любом случае я перестану

обо всем этом думать, как только отсюда выберусь. Должен при всем при том заметить, что пейзажи здесь весьма неплохие. Прекрасный центр для занятия зимними видами спорта, будь это в подходящем месте. Хотел бы я знать, нельзя ли покататься на лыжах вон по тем склонам.

Конвэй бросил на него испытующий и слегка удивленный взгляд.

— Вчера, когда я нашел несколько цветков эдельвейса, ты напомнил мне, что я не в Альпах. Думаю, сейчас моя очередь сказать то же самое. Я бы не советовал тебе здесь проделывать трюки в духе Венген-Шайдегг.^[20]

— Не могу представить, чтобы здесь видели когда-либо прыжки на лыжах.

— Или хотя бы хоккейный матч, — весело отозвался Конвэй. — Можем попытаться создать пару команд. Как насчет «Джентльмены» и «Ламы»?

— Несомненно, это помогло бы им научиться играть, — вставила мисс Бринклоу с обворожительной серьезностью.

Найти достойное продолжение подобному разговору было бы нелегко. Это и не понадобилось: подошло время обеда, и появившиеся блюда, равно как и быстрота их смены, производили самое благоприятное впечатление. Когда вошел Чанг, снова чуть было не возобновились прежние пререкания. Но китаец тактично отвечал на их вопросы, был доброжелателен, и четверо

²⁰ Венген, Шайдегг — названия двух швейцарских городков, по соседству с которыми в 1924 г. впервые были устроены международные соревнования горнолыжников.

путешественников, не сговариваясь, решили сохранять мир. Когда он заметил, что они, возможно, хотели бы познакомиться с монастырем и он рад послужить им проводником, предложение было с готовностью принято.

— Ну конечно, — сказал Барнард. — Раз уж мы тут, надо изучить местность. Я думаю, что не скоро кому-нибудь из нас случится нанести сюда повторный визит.

Мисс Бринклоу высказалась более глубокомысленно.

— Когда мы покидали Баскул на этом аэроплане, я, конечно же, не могла и мечтать, что мы попадем в подобное место, — пробормотала она, когда все последовали за Чангом.

— И мы до сих пор не знаем, почему это случилось, — откликнулся неумолимый Мэлинсон.

Конвэй не ведал расовых или национальных предрассудков, и ему всегда требовалось особое усилие, чтобы показать (как он порой делал это в клубах или в вагонах первого класса), будто он особо ценит «белизну» красного как рак лица под высоким цилиндром. Создавать такое впечатление значило избегать лишних проблем, особенно в Индии, а Конвэй всегда старательно уворачивался от неприятностей. Но в Китае нужды в этом не возникало. У него было много друзей-китайцев, и ему никогда не приходило в голову смотреть на них сверху вниз. Поэтому ничто не мешало ему видеть в Чанге пожилого джентльмена с хорошими манерами, каковому, может быть, нельзя полностью доверять, но который, несомненно, является глубоко интеллигентным человеком. Мэлинсон, однако, смотрел на китайца сквозь

прутья воображаемой клетки. У мисс Бринклоу отношение к Чангу было резкое и — как к заблуждающемуся язычнику. Ну, а Барнард, с его полным юмора благодушием, обращался с Чангом так, как он обращался бы с любым дворецким.

Между тем великий обход Шангри-ла оказался достаточно интересным, чтобы отодвинуть в тень все различия в чувствах и поведении. Конвэй не впервые посещал монашескую обитель, но эта намного превосходила все прочие своими размерами. Была она и самой замечательной — со всех точек зрения, даже если не считать исключительности ее местоположения.

Поход через комнаты и внутренние дворы занял всю вторую половину дня, хотя, как Конвэй заметил, по пути попадалось множество жилых апартаментов и даже целых зданий, в которые Чанг их не приглашал. Так или иначе, но гостям показано было достаточно, чтобы каждый из них утвердился в своем ранее сложившемся впечатлении. Барнард еще более уверился, что ламы богаты; мисс Бринклоу обнаружила немало подтверждений их безбожия. Мэлинсон, удовлетворив поверхностное любопытство, почувствовал, что устал не меньше, чем он всегда уставал от экскурсий и на обычных высотах. Ламы, решил он, едва ли могут стать его героями.

Только Конвэй очаровывался все больше каждым шагом. Его внимание привлекали не столько отдельные вещи, сколько постепенно раскрывающиеся элегантность, строгий и безукоризненный вкус, тончайшая гармония, которая, казалось, ласкала глаз, не обнаруживая своего присутствия. Ему понадобилось сознательное усилие, чтобы перестать смотреть на все

глазами художника и проявить способности знатока ценителя. И тогда он различил сокровища, за обладание которыми готовы были бы вступить в схватку музеи и миллионеры: тончайшие изделия из жемчужно-голубой керамики эпохи Сун^[21], отлично сохранившиеся рисунки, выполненные цветной гуашью более тысячи лет назад, лакированные предметы с подробными изображениями фантастических миров. Ни с чем не сравнимая изысканная красота фарфора и росписи зачаровывала с первого взгляда, лишь позже позволяя осмыслить мастерство их создателей. Не было бахвальства и погони за эффектом. Ничто не раздражало глаза, ум, душу. Эти деликатные совершенства казались лепестками цветков, слетевшими на землю. Коллекционера они свели бы с ума. Но Конвэй не интересовался собирательством; он не имел ни денег, ни инстинкта приобретателя. Его любовь к китайскому искусству была делом души. В мире нарастающего шума и все более громоздких сооружений он внутренне тянулся к тихому, нежному, миниатюрному. И, переходя из комнаты в комнату, он начинал испытывать необъяснимое волнение при мысли о громадине Каракала, нависшей над столь хрупкими и очаровательными творениями рук человеческих.

Помимо выставки китайской культуры, монастырь предлагал и кое-что еще. Одним из его достояний была восхитительная библиотека, большая и удобная. Книги, великое множество книг, запрятанных в нишах и альковах, так что общая обстановка, казалось, подчеркивала: мудрость здесь ценится выше учености, а добрым нравам отдается предпочтение перед

²¹ Эпоха Сун — время наивысшего расцвета китайской культуры. Императорская династия Сун правила в Китае с 960 по 1279 год.

серьезными занятиями. Бегло пробежав взглядом по некоторым полкам, Конвэй обнаружил много для себя удивительного. Лучшие образцы мировой литературы соседствовали там с маловразумительными и откровенно развлекательными изданиями, глубоко чуждыми его вкусу. Много было томов на английском, французском, немецком и русском языках. В изобилии присутствовали писания, выполненные китайской иероглификой и другими восточными шрифтами.

Отдел, особенно его заинтересовавший, был посвящен тибетиане, если позволительно так выразиться. Он заметил несколько редчайших книг и среди них сочинение португальца Антонио де Андрада «Открытие нового великого пути, или Два короля Тибета» (Лиссабон, 1626), «Китай» Атанасиуса Кирхера (Антверпен, 1667), написанную французом Тевено книгу «Путешествие в Китай, совершенное Пересом Гребером и Дорвилем» и «Неизданные записки о путешествии в Тибет» итальянца Белигатти. Он как раз листал эти записки, когда заметил, что Чанг смотрит на него с мягким любопытством.

— Вы, видимо, ученый? — последовал вопрос.

Конвэй затруднился с ответом. Преподавательская работа в Оксфорде давала ему право ответить утвердительно, но он знал, что слово «ученый», высший комплимент в устах китайца, звучит несколько нескромно. И, сообразуясь главным образом с присутствием своих спутников, он его отклонил, сказав:

— Я, конечно, с удовольствием погружаюсь в книги, но в последние годы у меня было мало подходящих случаев, чтобы отдаться исследовательским занятиям.

— Но вы стремитесь к ним?

— О, я не стал бы этого утверждать. Но разумеется, я вижу их привлекательную сторону.

Мэлинсон, вертевший в руках книгу, встрял в разговор:

— Вот тут есть кое-что для ваших исследовательских занятий, Конвэй. Это карта страны.

— У нас их несколько сот, — сказал Чанг. — Все они к вашим услугам, но я могу заранее предупредить об одной поджидающей вас неприятности. Ни на одной карте вы не найдете Шангри-ла.

— Странно, — заметил Конвэй. — А любопытно, почему?

— Для этого есть очень серьезная причина, но боюсь, это все, что я могу сказать.

Конвэй улыбнулся, но Мэлинсон опять проявил сварливость.

— Все накручиваете таинственность, — пробурчал он. — Пока что мы не заметили ничего такого, что стоило бы скрывать.

Неожиданно, после молчаливого раздумья, оживилась мисс Бринклоу.

— А вы не собираетесь показать нам лам за работой? — пропела она тоном, который, надо было полагать, не раз приводил в ужас многих людей в конторах Кука. Можно было также догадаться, что в голове ее роились туманные видения туземных промыслов, плетение молитвенных ковриков или чего-то еще живописно примитивного, о чем она сможет порассказать, вернувшись домой. Она обладала

выдающимся даром никогда не обнаруживать своего удивления и всегда казаться чуть-чуть сердитой, и сочетание этих двух свойств ни в малейшей степени не было поколеблено ответом Чанга:

— Сожалею, но должен сказать, что это невозможно. Никогда или, может быть, точнее, очень редко лам может видеть тот, кто сам не посвящен в ламы.

— Тогда нам, я полагаю, не суждено с ними встретиться, — сказал Барнард. — Жаль... очень жаль. Вы и представить себе не можете, с какой радостью я пожал бы руку вашему главному начальнику.

Чанг принял замечание с кроткой серьезностью. Мисс Бринклоу, однако, не могла допустить, чтобы ее обошли.

— Чем занимаются ламы? — продолжала она.

— Они, мадам, предаются созерцанию и впитывают мудрость.

— Но это же нельзя назвать занятиями.

— Тогда, мадам, они не делают ничего.

— Так я и думала. — Она сочла, что можно подвести итог. — Ну, мистер Чанг, несомненно, нам доставило удовольствие посмотреть все эти вещи, но вы не убедили меня, что заведение, подобное вашему, делает какое-либо по-настоящему доброе дело. Я предпочитаю что-нибудь более практичное.

— Может быть, вы хотите чаю?

Конвэю показалось сначала, будто этот вопрос был произнесен с иронией, но скоро выяснилось, что предложение насчет чая сделано вполне серьезно.

Вторая половина дня пробежала быстро, а Чанг, хотя он едва прикасался к пище, обнаруживал истинно китайскую приверженность частым чаепитиям. Мисс Бринклоу также призналась, что от посещения музеев и галерей у нее всегда возникает легкая головная боль. Поэтому группа согласилась и последовала за Чангом через несколько дворигов к месту, откуда открывался необыкновенно красивый вид.

С колоннады ступеньки вели вниз, в сад, где находился пруд, полностью покрытый листьями лотоса. Листья так тесно прижимались друг к другу, что создавалось впечатление, будто это настил, сделанный из зеленой керамической плитки. На краю пруда разместилось собрание бронзовых львов, драконов и единорогов. Каждая фигура была олицетворением звериной жестокости, и это скорее подчеркивало, чем нарушало очарование окружающего покоя. Все было так подогнано, так соразмерно, что глаз не спешил перебегать с предмета на предмет. Ничто ничем не перекрывалось, ничто не выделялось, и казалось, даже вершина Каракала, величаво возвышавшаяся над голубыми пластинами крыш, подчинялась общему замыслу изысканной художественности.

— Славное местечко, — заметил Барнард, когда Чанг провел их в открытый павильон, где, к восторгу Конвэя, они увидели клавесин и большое современное фортепиано.

Для него это в некотором смысле явилось самым большим чудом, венчающим все удивительное, что открылось глазам задень. Чанг ответил на его вопросы с полной откровенностью и очень четко. Ламы, объяснил Чанг, высоко ценят западную музыку и особенно

почитают Моцарта; у них есть коллекции сочинений всех великих европейских композиторов, а некоторые обитатели монастыря и сами блестяще играют на различных инструментах.

Барнарда главным образом занимала проблема транспортировки.

— Не хотите ли вы сказать, что этот музыкальный инструмент был доставлен сюда тем же путем, какой проделали мы вчера?

— Другого пути просто нет.

— Ну, это побивает все прочее! Ведь вам бы полностью хватило фонографа и радио. Хотя, может, вы не освоили еще этих последних достижений музыкальной техники?

— Да-да, нам о них сообщали и указывали в том числе, что горы сделают прием радиопередач невозможным. А относительно фонографа, идея эта старейшинам была предложена, но они не сочли нужным спешить.

— Даже если бы вы об этом не сказали, я все равно так бы и подумал, — отозвался Барнард. — Не спешить — это, наверное, девиз вашей общины. — Он громко засмеялся и продолжал: — Ну ладно, а если все-таки разобраться поподробнее, каков будет порядок действий, если ваши начальники решат, что им нужен фонограф? Заводы-изготовители не возьмутся за поставку его сюда, это несомненно. Вам надо иметь агента в Пекине, или Шанхае, или еще где, и держу пари, когда вы наконец получите вещь, она вам обойдется в огромную сумму денег.

Но Чанг оставался не более разговорчивым, чем в прошлый раз.

— Ваши предположения разумны, мистер Барнард, но боюсь, я не могу обсуждать их.

Вернулись к тому же, думал Конвэй, уперлись в невидимую черту, отделяющую то, что можно открыть, от того, что нельзя. Он уже пытался мысленно определить, где проходит эта черта, как вдруг новая неожиданность отвлекла его. Ибо слуги уже несли крошечные чашки с душистым чаем, и вместе с проворными, гибкими тибетцами тихо и почти незаметно вошла девушка в китайской одежде. Она сразу направилась к клавесину и начала играть гавот Рамо. Первый же чарующий аккорд вызвал у Конвэя невообразимое наслаждение. Серебристые переливы, впервые прозвучавшие во Франции восемнадцатого века, казалось, сливались с элегантностью ваз эпохи Сун, и изысканными лакированными изделиями, и лотосом в пруду там, позади. Все это звучало словно вопреки смерти и привнося дыхание вечности в нынешний, забывший эти мелодии век. Потом он обратил внимание на исполнительницу. У нее были длинный узкий нос, высокие скулы и лицо цвета яичной скорлупы, покрытое маньчжурской бледностью. Ее волосы, плотно стянутые назад, удерживались заколкой. Все в ней навевало мысли о законченности и миниатюрности. Ее рот походил на маленький красный цветок вьюнка. Сидела она совершенно неподвижно, двигались только руки с длинными пальцами. Гавот кончился, она едва заметно обозначила свое почтение слушателям и ушла.

Чанг улыбался, провожая ее взглядом, и потом продолжал улыбаться, как бы торжествуя над Конвэем.

— Это доставило вам удовольствие? — осведомился он.

— Кто она? — спросил Мэлинсон, прежде чем Конвэй успел ответить.

— Ее зовут Ло-Тсен. Она искуснейшая исполнительница западной клавиатурной музыки. Как и я, она еще не пришла к полному посвящению в ламы.

— Разумеется, нет! — воскликнула мисс Бринклоу. — Она же почти ребенок. Так что, у вас здесь есть и женщины-ламы?

— Пол для нас не играет роли.

— Странное дело это ваше ламаистское духовенство, — высокомерно заметил Мэлинсон после некоторой паузы.

До конца чаепития разговор не возобновлялся. Казалось, в воздухе еще разносилось эхо звуков клавесина и все вокруг как бы подчинялось им. Наконец, покидая павильон, Чанг выразил надежду, что прогулка по монастырю доставила им удовольствие. Отвечая за всех, Конвэй рассыпался обычными выражениями признательности. Чанг, в свою очередь, заверил, будто он и сам испытал удовольствие и надеется, что гости понимают: музыкальный салон и библиотека находятся в их полном распоряжении на все время пребывания в обители. Конвэй не без искренности снова поблагодарил его.

— А как же ламы? — добавил он. — Они этим никогда не пользуются?

— Для них большая радость уступить место своим почетным гостям.

— Ну, это, на мой взгляд, совсем замечательно, — сказал Барнард. — Значит, ламы действительно знают о нашем существовании. Стало быть, это шаг вперед, который дополнительно помогает мне чувствовать себя как дома. Конечно, у вас здесь все здорово устроено, Чанг, и эта ваша девочка очень мило играет на пианино. Занятно было бы узнать, сколько ей лет.

— Боюсь, не могу вам сказать.

Барнард рассмеялся:

— Вы не выдаете секреты насчет возраста леди, не так ли?

— Именно так, — ответил Чанг с едва приметной улыбкой.

В тот вечер, после позднего обеда, Конвэй улучил минуту и, отделившись от своих спутников, пошел прогуляться по тихим, залитым лунным светом дворикам. Окутанная тайной, которая всегда лежит в основе красоты, Шангри-ла была в тот час прекрасна. Воздух холоден и недвижим. Могучий шпиль Каракала казался совсем близким, много ближе, чем днем. Конвэй испытывал легкость в теле, удовлетворение в чувствах и спокойствие в душе. Но его интеллект, а это не совсем то же самое, что душа, был захвачен легким волнением. Появилась задача, требовавшая решения. Линия секретности, которую Конвэй начал мысленно прочерчивать, обозначалась все более четко, но в результате он только яснее понимал, что оказался перед непроницаемой завесой. Вся цепь удивительных событий, произошедших с ним и его тремя случайными спутниками, теперь сплеталась в единый узел. Он еще не

был в состоянии распутать его, но пришел к выводу, что каким-то образом тайну можно раскрыть.

Вдоль глухой стены он вышел на террасу, нависавшую над долиной. Его окутал запах туберозы, пробудивший множество приятных воспоминаний. В Китае этот запах называли ароматом лунного света. Внезапно он подумал, что если бы лунный свет мог не только пахнуть, но и звучать, то сейчас он вполне услышал бы гавот Рамо. А это заставило его вспомнить о маленькой маньчжурке. Раньше ему не приходило в голову, что в Шангри-ла могут оказаться женщины. Их присутствие обычно не связывается с установками и делами монашеских обитателей. Тем не менее, думал он, это могло быть не лишнее приятности новшество. Девушка, играющая на клавесине, и впрямь оказалась бы достойным украшением общины, которая, по словам Чанга, хочет следовать «умеренно еретической» линии.

Он перегнулся через край и посмотрел в иссиня-черную пустоту. Обрыв был потрясающий. Глубиной, наверное, не меньше мили. Он подумал, разрешат ли ему спуститься по отвесной скале и познакомиться с цивилизацией долины. Мысли об одиноком оазисе культуры, о его затерянности посреди безвестных хребтов, об установленной здесь теократии в какой-то неопределенной, размытой форме его, историка, занимали сами по себе, независимо от достаточно любопытных и, видимо, связанных со всем этим тайн монастыря.

Неожиданно с легким дуновением ветра снизу донеслись звуки. Напряженно вслушиваясь, он сумел различить удары гонгов и барабанов посреди гула голосов. Но он допускал, что это только игра

воображения. Всякие встречные порывы ветра гасили эти звуки, но потом ветер менялся, и они возвращались. Сам этот намек на жизнь, на какие-то ее проявления в покрытых мраком глубинах подчеркивал суровую сдержанность Шангри-ла. Ее пустые дворы и бледные павильоны были погружены в спокойствие. Вся суэта существования словно откатилась отсюда прочь и оставила после себя тишину и неподвижность. Будто мгновения не отваживались сменять друг друга. Вдруг в окне высоко над террасой он разглядел розово-золотистый свет фонаря. Не там ли ламы посвящали себя созерцанию и постижению мудрости, и не там ли они предавались этим занятиям как раз сейчас? Ответ на этот вопрос Конвэй мог получить лишь одним способом: войти в ближайшую дверь, миновать галерею и коридор и там уж найти возможность выяснить, что происходит. Но он знал: надеяться на такую свободу действий было бы наивно, и на самом деле каждый его шаг был под надзором.

Два тибетца прошествовали по террасе и остановились у парапета. Выглядели они доброжелательными, милыми людьми. У обоих голые плечи были прикрыты небрежно наброшенными цветными плащами. Рокот гонгов и барабанов снова донесся снизу, и Конвэй услышал, что один из тибетцев обратился к другому с вопросом. Последовал ответ: «Они похоронили Талу». Конвэй, очень слабо знавший тибетский язык, надеялся, что разговор продолжится. Из одного этого сообщения многого он узнать не мог. Помолчав, первый тибетец снова заговорил, другой ответил. Конвэй услышал:

— Он умер далеко от дома.

— Он выполнил волю высоких людей Шангри-ла.

— Он промчался по воздуху над великими горами с помощью птицы, которая несла его.

— И с собой он привез чужеземцев.

— Талу не боялся ветра там, за горами, и не страшился холода там, за горами.

— Хотя давно он отправился туда, за горы, долина Голубой луны его не забыла.

Больше не было сказано ничего доступного разумению Конвэя, и спустя некоторое время он вернулся в свою комнату. Он услышал достаточно, дабы повернуть ключом в замке тайны, и ключ так хорошо подходил, что он удивлялся, как это он сам не догадался выточить его на основе собственных рассуждений. Конечно, ему это приходило в голову и раньше, но само предположение изначально казалось чересчур уж неправдоподобным. Теперь он уверился в правоте своих домыслов при всей их несуразности. Полет из Баскула оказался не бессмысленным поступком безумца. Он был заранее спланирован, подготовлен и осуществлен по указке из Шангри-ла. Имя погибшего пилота известно обитателям монастыря. В каком-то смысле он был одним из них. Его смерть оплакивается. Все указывало на действия, направляемые неким руководящим умом, который преследует собственные цели. Но зачем, для каких целей надо было увидеть четырех случайных пассажиров и на самолете британского правительства переправлять их в пустынные места за Гималаями?

Эти вопросы отчасти ошеломляли Конвэя. Но они отнюдь не были для него источником одних только неприятных переживаний. Напротив, в них содержался

вызов, и притом вызов, брошенный тем единственным способом, каким Конвэя только и можно было расшевелить. Вопросы требовали от него ясности ума. В них была задача, достойная его интеллектуальных сил. Одно он для себя решил сразу. Об этом леденящем душу открытии не надо сообщать — ни своим спутникам, неспособным ему помочь, ни хозяевам, которые, конечно же, помогать не захотят.

Глава шестая

— Сдается мне, иным людям случается попадать в места похуже, — заметил Барнард в конце первой недели, и это, несомненно, был один из тех выводов, которые они все для себя сделали. К этому времени все четверо погрузились в своего рода повседневную рутину, а Чанг способствовал тому, что скучали они не больше, чем во время отпуска, проводимого по заранее составленному расписанию. Все они приспособились к климату и сочли его вполне благоприятным для здоровья, если избегать тяжелых нагрузок. Они усвоили, что дни здесь теплые, а ночи холодные, что монастырь почти полностью укрыт от ветров, что лавины скатывались с Каракала чаще всего около полудня, что в долине выращивался хороший сорт табака, что некоторые блюда и напитки были лучше, чем другие, и что каждый из них имел свои вкусы и предпочтения.

Друг к другу они относились, словно четыре новых ученика в школе, в которой, кроме них самих, по какой-то таинственной причине вообще никого больше нет. Чанг был неутомим в своих стараниях сгладить все острые углы. Он служил им экскурсоводом, предлагал, чем заняться, советовал, что почитать, за столом, если вдруг смолкал общий разговор, он занимал их своей медленной речью с тщательно подобранными словами. И чтобы ни происходило, он всегда был благосклонен, учтив и находчив.

Разграничительная линия между сведениями, предоставлявшимися охотно, и теми, запросы о которых вежливо отклонялись, обозначалась столь четко, что это уже не вызывало недовольства. Разве лишь у Мэлинсона,

когда на него находило. Конвэй это с удовольствием отметил и присоединил к мысленному списку наблюдений.

Барнард поддразнивал китайца в манере и традициях ротарианцев Среднего Запада.

— Знаете, Чанг, это чертовски никудышный отель. Неужели сюда никогда не доставляют газет? Я бы отдал все книги вашей библиотеки за сегодняшний номер «Геральд трибюн».

Чанг всегда отвечал серьезно, хотя это вовсе не означало, что он всерьез воспринимает каждый обращенный к нему вопрос.

— У нас, мистер Барнард, имеется подшивка «Таймс» за все время ее издания, кроме нескольких последних лет. Но с сожалением должен сказать, что речь идет только о лондонской «Таймс».

Конвэй с радостью обнаружил, что долина не была местом, лежавшим за пределами досягаемости, хотя трудности спуска делали невозможным посещение ее без проводящих. Вместе с Чангом они провели целый день среди зелени, которая так живописно смотрелась со скалы, и по крайней мере для Конвэя эта прогулка представляла захватывающий интерес. Они сидели в бамбуковых креслах, опасно раскачивавшихся над пропастью, когда их носильщики — один впереди, другой сзади — беззаботно устремились вниз по круто уходившей вниз тропе. Путь этот был не для тех, кто подвержен головокружениям. Но когда наконец они достигли поросшего лесом подножия скалы, все вокруг говорило об одном: здесь лежала земля, осененная высшей благодатью. Ибо долина представляла собой не что иное, как защищенный со всех сторон плодородный

райский уголок. Разница высот в несколько тысяч футов позволяла здесь уместиться широкому набору климатических зон — от умеренной до тропиков. Культуры, представленные в необычайном разнообразии, буйно росли в тесном соседстве, притом что ни один крошечный клочок земли не оставался неухоженным. Полоса обрабатываемой земли тянулась, видимо, на дюжину миль в длину, а ширина ее колебалась от одной мили до пяти. Солнечный свет счастливым образом заливал ее в жаркое время дня. И поэтому воздух даже в тени был напоен приятным теплом, несмотря на ледяные ручейки, питавшие почву влагой, — они несли в себе холод таявших снегов. Глядя на отвесную громаду скалы, Конвэй опять подумал о величии этого зрелища и о ни с чем не сравнимой опасности, таившейся в этом пейзаже. Если бы некогда, по чистой случайности не возникла эта преграда, долина была бы озером, постоянно наполняемым окружающими ледниками. А сейчас с гор скатывались только ручейки, и они добавляли воду в резервуары, орошали поля и плантации с такой расчетливостью, будто это делалось по чертежам и планам опытного инженера. Все было устроено на редкость удачно. Но все это сохранялось только при условии, что никакие землетрясения, никакие гигантские оползни не нарушат величавый покой окружающих долину гор.

Но эти смутные страхи по поводу возможного будущего только подчеркивали завораживающую прелесть настоящего. Снова Конвэй был зачарован и покорен изяществом и изобретательностью, окружавшими его в Китае и сделавшими проведенные там годы самым счастливым для него временем. Громады гор вздымались над совершенно не похожим на них

миром маленьких лужаек и чистых садиков, раскрашенных чайных домиков по берегам потоков, веселых, словно игрушечных, жилых построек. Местные жители казались ему продуктом очень удачного смешения китайцев и тибетцев. Выглядели они чище и красивее, чем обычные представители обоих народов, и, судя по всему, браки между родственниками, неизбежные в такой замкнутой общине, не причинили им особого ущерба. Они улыбались, проходя мимо покачивавшихся в креслах чужестранцев, а Чангу обязательно говорили два-три добрых слова. Они были доброжелательны, любознательность свою выражали ненавязчиво. Учтивые, беззаботные, они все время занимались нескончаемыми делами, но не разводили вокруг себя никакой суеты. В целом Конвэй решил, что это одна из самых приятных общин, какие когда-либо попадались на его пути, и даже мисс Бринклоу, старательно искавшая признаки языческой скверны, вынуждена была отметить, что внешне все выглядит очень пристойно. Она с облегчением обнаружила, что туземцы полностью одеты. Правда, женщины носили тесно стянутые на лодыжках китайские штаны. А при обследовании буддийского храма мисс Бринклоу, дав волю своему воображению, отыскала несколько предметов, которые с некоторыми сомнениями можно было рассматривать как отголоски фаллического культа. Чанг объяснил, что у этого храма свои ламы, которые, хотя они и «чужие», находятся под нестрогим контролем Шангри-ла. Он сообщил также о существующих дальше в долине храмах последователей таоизма и конфуцианства.

— У драгоценного камня не одна грань, — сказал китаец. — И возможно, каждая религия является умеренно истинной.

— Согласен, — горячо откликнулся Барнард. — Я никогда не понимал распрей между сектами. Чанг, вы философ, я должен запомнить это ваше высказывание: «Каждая религия является умеренно истинной». Видать, там, наверху, мудрые ребята собрались, раз такое выдумали. И вы правы, совершенно в этом уверен.

— Но сами мы, — задумчиво ответил Чанг, — лишь умеренно верим в это.

Мисс Бринклоу не могла отвлекаться на подобные речи. Они для нее являлись только свидетельствами лени. Во всяком случае, ее волновали собственные мысли.

— Когда я вернусь, — говорила она, поджав губы, — я попрошу мое общество послать сюда миссию. И если станут ворчать насчет расходов, я намерена вытрясать им душу, пока не согласятся.

Конечно, это было проявлением здорового духа, и даже Мэлинсон, как ни мало он симпатизировал миссионерам за границей, не мог ее не поддержать.

— Им следует послать вас, — согласился он. — Конечно, если вам нравятся места, подобные этому.

— Едва ли может идти речь о том, нравится или не нравится, — возразила мисс Бринклоу. — Разумеется, само место не нравится. Но тут вопрос в осознании своего долга.

— Мне кажется, — сказал Конвэй, — будь я миссионером, я предпочел бы это место многим другим.

— В таком случае, — отрезала мисс Бринклоу, — ваш выбор очевидным образом утратил бы качество какой-либо заслуги.

— Я не думал о своих заслугах.

— Тем прискорбнее. Нет никакой добродетели в вашей работе, если вам нравится ее делать. Полюбуйтесь на здешних людей!

— Все они кажутся очень счастливыми.

— Вот именно, — ответила она с некоторым ожесточением. И добавила: — В любом случае не вижу, почему бы мне не приступить к делу, начав с изучения языка. Не можете ли снабдить меня учебником, мистер Чанг?

Чанг милостиво согласился:

— Не извольте сомневаться, мадам, с величайшим удовольствием. И с вашего позволения хочу заметить, что это отличная мысль.

Вечером, когда они поднялись в Шангри-ла, Чанг доказал, что и впрямь считает это делом чрезвычайной важности. Мисс Бринклоу поначалу была немного ошеломлена огромным томом, который он ей принес, книгой, составленной неким трудолюбивым немцем в XIX веке. Вероятно, она предполагала получить издание полегче — что-нибудь вроде брошюры под названием «Как это лучше сказать по-тибетски». Но помощь китайца и подбадривающие слова Конвэя позволили ей успешно сделать первые шаги, и вскоре можно было видеть, что она извлекает мрачноватое удовольствие из своих занятий.

Конвэй также нашел для себя много интересного. Помимо, конечно, общей проблемы, которую он поставил себе целью разрешить.

Дни напролет он проводил в библиотеке и музыкальном салоне, подтверждая сложившееся у него впечатление, что ламы были людьми весьма высокой культуры. По крайней мере в подборе книг они придерживались классического вкуса. С Платоном на греческом языке соседствовал Омар Хайям на английском. Ницше располагался рядом с Ньютоном. За Томасом Мором шли Ханна Мор, Томас Мур, Джордж Мур и даже Старый Мур. В целом, по прикидке Конвэя, библиотека насчитывала от двадцати до тридцати тысяч томов. И возникло искушение поразмышлять, каким образом она подбиралась и приобреталась. Он постарался определить время последних поступлений и не нашел ничего более позднего, чем немецкое издание «На Западном фронте без перемен». Чанг сообщил, однако, что есть и другие, более поздние издания, вплоть до книг, вышедших в середине 1930 года, и они, несомненно, со временем появятся на полках. В монастырь они уже прибыли.

— Мы стараемся не отставать от событий, — пояснил Чанг.

— Найдутся люди, которые едва ли будут готовы согласиться с вами, — с улыбкой заметил Конвэй. — Довольно много произошло в мире за минувший год.

— Ничего особо важного, мой дорогой сэръ, ничего такого, чего нельзя было бы предвидеть в тысяча девятьсот двадцатом, или того, что нельзя будет лучше понять в сороковом.

— Вас, значит, не интересуют последние сдвиги в развитии мирового кризиса?

— Мне они будут очень интересны — в свой черед.

— Знаете, Чанг, кажется, я начинаю вас понимать. У вас включена не та передача, вот в чем дело. Время имеет для вас совсем не тот смысл, что для большинства людей. В Лондоне я и сам не всегда одержим желанием заполучить свежайшую, час назад вышедшую газету, и подобным же образом вы здесь, в Шангри-ла, не испытываете жгучей потребности заглянуть в номер хотя бы годичной давности. И то и другое кажется мне вполне разумным. Кстати, а когда в последний раз вы принимали здесь посетителей извне?

— Об этом, мистер Конвэй, я, к сожалению, не могу вам сказать.

Это было обычное завершение беседы. И Конвэй воспринимал его с меньшим раздражением, чем иные разговоры в прошлом, которые доставляли ему много мучений как раз по противоположной причине: они вопреки всем его стараниям никогда не приходили к завершению. Чанг по мере учащения их встреч нравился ему все больше. Но поражало, что пока он оставался чуть ли не единственным обитателем монастыря, с кем довелось пообщаться. Даже если предположить, будто сами ламы недосыгаемы, разве, кроме Чанга, не было здесь других готовившихся к посвящению?

Да, конечно, еще маленькая маньчжурка. Он встречал ее иногда в музыкальном салоне, но она не знала английского языка, а он все еще не хотел обнаруживать свое знание китайского. Он не мог с точностью определить, играет она себе в удовольствие или занимается совершенствованием своего искусства.

Ее игра и все поведение были изысканно правильными, выбор пьес никогда не выходил за пределы установившегося круга — Бах, Корелли, Скарлатти и изредка Моцарт. Она предпочитала клавесин, но когда Конвэй садился за фортепиано, она слушала серьезно, с видом покорного одобрения. Невозможно было вообразить, о чем она думает, трудно оказалось даже угадать ее возраст. Он предавался сомнениям, перевалило ей за тридцать или нет еще и тринадцати. И все же странным образом ни одно из этих предположений нельзя было опровергнуть как совершенно невероятное.

Мэлинсон, который иногда, не найдя себе иного занятия, приходил послушать музыку, считал, будто здесь таится большая загадка.

— Не могу понять, что она тут делает, — не раз говорил он Конвэю. — Вся эта канитель с ламами может быть по нраву какому-нибудь старикану вроде Чанга, но чем привлекательна для юной девушки? Интересно, сколько времени она здесь проторчала?

— Меня это тоже занимает, но это одна из тех загадок, о которой нам, наверное, не скажут.

— Вы думаете, ей здесь нравится?

— Должен заметить, она не выглядит недовольной.

— По ее виду не скажешь, что у нее вообще есть какие-нибудь чувства, коль на то пошло. Она больше похожа на игрушку из слоновой кости, чем на живое существо.

— Во всяком случае, если игрушка, то очаровательная.

— Ну, в некоторой мере.

Конвэй улыбнулся:

— В весьма изрядной, Мэлинсон, если как следует присмотреться. В конце концов, игрушка из слоновой кости прекрасно держится на публике, со вкусом одевается, обладает привлекательной внешностью, хорошо управляется с клавесином и передвигается по комнате, не путая ее с хоккейным полем. В Западной Европе, если мне не изменяет память, в наличии имеется множество женщин, лишенных этих качеств.

— Вы ужасно цинично относитесь к женщинам, Конвэй.

Конвэй привык к такому обвинению. Ему мало приходилось общаться с представительницами прекрасного пола. В Индии во время выпадавших ему порой отпусков, которые он проводил на горных курортах, обзавестись репутацией циника было так же просто, как и любой другой. Сказать по правде, ему несколько раз случалось заводить чудесную дружбу с женщинами, которые, сделай он предложение, рады были бы выйти за него замуж. Но предложений он не делал. Однажды зашло так далеко, что в «Морнинг пост» чуть было не появилось объявление о помолвке, но девушка не хотела жить в Пекине, а он не хотел жить в престижном Танбридж-Уэлсе, и это разногласие не удалось преодолеть. В той мере, в какой у него вообще был опыт общения с женщинами, весь этот опыт оставался приблизительным, противоречивым и недостаточным для четких выводов. Но при всем том циничного отношения к женщинам у него не было.

Он сказал смеясь:

— Мне тридцать семь, тебе двадцать четыре. К тому все и сводится.

Помолчав, Мэлинсон неожиданно спросил:

— Да, кстати, как вы думаете, сколько Чангу лет?

— Может быть сколько угодно, — легко ответил Конвэй. — От сорока девяти до ста сорока девяти.

В распоряжение гостей поступала, однако, и куда более надежная информация. Порой их любознательность оставалась неудовлетворенной, и это как бы смазывало значение обширнейших сведений, каковые Чанг всегда готов был предложить их вниманию.

Не было, например, никаких тайн в отношении нравов и обычаев жителей долины, и Конвэй с интересом вел на эту тему беседы, которых хватило бы для создания вполне достойной диссертации. Ему, человеку, изучающему явления общественной жизни, особенно хотелось понять местную систему управления. При ближайшем рассмотрении складывалось впечатление, что это свободная и гибкая автократия с центром в монастыре, правящим благожелательно и выказывающим свою власть почти незаметно. Действовала подобная система с явным успехом, это подтверждалось при каждом очередном спуске в долину. Конвэй был поражен, когда осознал, что составляло опору права и порядка. Он не видел ни солдат, ни полицейских. Но ведь должны же существовать какие-то способы воздействия на нарушителей? Чанг сообщил, что преступления бывают крайне редко. Во-первых, так как к их числу принято относить только очень серьезные проступки, а во-вторых, потому что каждый в достатке имеет все нужное в пределах его разумных потребностей. На крайний случай слуги монастырских лам наделены властью изгонять

правонарушителей из долины. Но такая мера, почитаемая за строгое, жестокое наказание, применяется редко. Главное же, на чем держится система правления Голубой Луны, — это усвоение людьми правил поведения. Некоторые вещи здесь просто нельзя делать, и не посчитавшийся с этим запретом человек неизбежно станет изгоем.

— Вы, англичане, внушаете в государственных школах те же представления, — сказал Чанг. — Но боюсь, у вас другой набор того, что нельзя делать. Обитатели нашей долины, например, относят сюда негостеприимство к странникам, ожесточение в споре, попытки получить преимущество перед другими. Для них непостижимо, как можно испытывать удовольствие от того, что ваши английские учителя называют игрой, воспроизводящей обстановку поля боя. Даже мысль об этом показалась бы им варварской и даже сознательной попыткой возбудить самые низменные инстинкты.

Конвэй спросил о спорах из-за женщин. Неужели их не бывает?

— Очень редко. Ибо не сочтено благопристойным взять женщину, которая нравится другому мужчине.

— Предположим, кто-то так сильно жаждет обладать ею, что ему уже наплевать на благопристойность?

— Тогда, мой дорогой сэръ, со стороны того, другого, будет благопристойным уступить ее. Но еще потребуются и согласие самой женщины. Вы бы удивились, Конвэй, узнав, как успешно помогает решению этих проблем небольшая доза обоюдного доброжелательства.

При посещении долины Конвэй и впрямь обнаруживал там дух взаимопонимания, который доставлял ему большую радость, так как он знал: из всех искусств самым далеким от совершенства остается искусство управления. Однако в ответ на одно его одобрительное замечание Чанг ответил:

— Мы, видите ли, стоим на том, что совершенства в управлении можно достичь, если поменьше управлять.

— Но у вас нет никаких демократических механизмов — выборов и всего такого?

— О, действительно, нет. Наши люди были бы потрясены, если бы им предложили: такую-то политику надо принять, потому что она полностью правильная, а другую отвергнуть как совершенно негодную.

Конвэй улыбнулся. Такой подход к делу показался ему на удивление привлекательным.

Тем временем мисс Бринклоу находила особое удовольствие в изучении тибетского языка, Мэлинсон раздражался и ворчал, а Барнард сохранял душевное равновесие, подлинное или поддельное, но в любом случае вызывающее восхищение.

— Если честно, — говорил Мэлинсон, — веселое настроение этого господина скоро начнет действовать мне на нервы. Могу оценить его оптимизм, но эти его вечные прибаутки становятся невыносимыми. За ним надо приглядывать, а то он сядет нам на шею.

Раз-другой Конвэй уже и сам с удивлением замечал; как легко американец осваивается в новой обстановке. Мэлинсону он отвечал:

— Разве нам не повезло, что он так хорошо умеет приспособиться?

— Лично я нахожу это чертовски странным. Что вы о нем знаете, Конвэй? Ну, кто он такой и прочее?

— Немногим больше, чем знаешь ты. Как я понял, он явился из Персии и предположительно занимался поисками нефти. Уже в начале эвакуации проявилось его легкое отношение к жизни. Мне больших трудов стоило уговорить его лететь вместе с нами. Он согласился, только когда я сказал, что американский паспорт не остановит пулю.

— Кстати, а вы хоть раз видели его паспорт?

— Вероятно, видел. Не помню. А что?

Мэлинсон засмеялся.

— Боюсь, вы сочтете, будто я не совсем четко соблюдаю правило не совать нос в чужие дела. А почему бы и нет? За два месяца в этой дыре должны раскрыться все наши тайны. Если они существуют. Поверьте, это я узнал совершенно случайно, никому не сказал ни слова. Не собирался говорить и вам, но раз уж зашел разговор, пожалуй, могу и поделиться.

— Да, разумеется, но хотел бы знать, что ты имеешь в виду.

— Только одно. Барнард передвигается по миру с подложным паспортом, и он никакой не Барнард.

Конвэй поднял брови, выражая любопытство, не проявив ровным счетом никакого беспокойства. Если Барнард вызывал у него хоть какие-нибудь чувства, то скорее всего это была общая симпатия. И уж никак

Конвэй не мог серьезно размышлять о том, кто такой Барнард, что он представляет собой в действительности.

— Ну и кто же он такой, по-твоему?

— Это Чалмерс Брайант.

— Черт побери! Как ты к этому пришел?

— Сегодня утром он обронил записную книжку, а Чанг нашел ее и отдал мне, думая, будто она моя. Мне сразу бросилось в глаза, что она набита газетными вырезками. Некоторые вываливались, пока я вертел ее в руках. Ну и признаюсь, я в них заглянул. В конце концов, газетные вырезки — это не личные записи, по крайней мере считается, что нет. Всюду речь шла о Брайанте и о его поисках, а на одной была фотография — одно лицо с Барнардом, если не считать усов.

— Ты сказал о своем открытии самому Барнард?

— Нет, я просто вернул ему его собственность без комментариев.

— Итак, твои выводы построены на том, что ты обнаружил сходство Барнарда с газетной фотографией?

— Ну, пока да.

— Не думаю, что этого мне хватило бы для приговора. Конечно, я не исключаю твою правоту. То есть не отвергаю возможность, будто он действительно Брайант. Если так, то этим можно во многом объяснить его удовольствие от пребывания здесь. Едва ли он смог бы отыскать лучшее место, чтобы скрыться.

Мэлинсон казался немного разочарованным такой спокойной реакцией на новость, которую он, как это было очевидно, считал потрясающей.

— Ну и что же вы собираетесь предпринять по этому поводу? — спросил он.

Конвэй минуту подумал и ответил:

— Ничего в голову не приходит. Наверное, и делать ничего не надо. И что вообще-то можно сделать?

— Но ведь, мать честная, если это Брайант...

— Мой дорогой Мэлинсон, будь он даже императором Нероном, это не имело бы никакого для нас значения — при сложившихся обстоятельствах! Святой или разбойник, мы должны сохранять по возможности наилучшие отношения друг с другом, и я не вижу, как мы можем помочь делу, если начнем кого-то преследовать. Конечно, если бы я заподозрил что-то там, в Баскуле, я бы связался с Дели и все выяснил — это мой служебный долг. Но сейчас, думаю, мне позволительно считать, будто я нахожусь не при исполнении служебных обязанностей.

— А не думаете ли вы, что делаете себе довольно-таки большое послабление?

— Послабление или нет, мне все равно. Главное, все должно соответствовать здравому смыслу.

— Кажется, вы мне советуете забыть о моем открытии?

— Забыть ты, наверное, не сможешь. Но убежден: каждый из нас должен сам решать, что делать. И заботиться не о Барнарде, или Брайанте, или как его там еще, а о том, как избежать дьявольски неловкого положения, когда мы отсюда выберемся.

— Хотите сказать, мы должны позволить ему смыться?

— Ну, я бы сказал чуть иначе. Удовольствие поймать его мы должны предоставить кому-нибудь другому. Когда ты провел несколько месяцев в тесном общении с человеком, не очень-то уместно требовать для него наручники.

— Не думаю, что я согласен. Этот человек всего-навсего крупный ворюга. Я знаю многих людей, которые лишились денег по его вине.

Конвэй пожал плечами. Он восхищался черно-белым мировосприятием Мэлинсона. Мораль, прививаемая государственной школой, может быть, и грубовата, но по крайней мере она не оставляет места для сомнений. Если человек преступил закон, то долг каждого передать его в руки правосудия. При том всегдашнем убеждении, что речь идет о законе, который непозволительно нарушать. А закон, касающийся чеков, акций и балансовых счетов, несомненно, из этого разряда. Брайант его преступил, и, хотя Конвэй не имел особого желания вникать в суть дела, у него создалось впечатление, будто правонарушение было достаточно серьезным. Единственная вещь, которую он знал, — это то, что крах огромной корпорации Брайанта в Нью-Йорке обернулся потерей примерно сотни миллионов долларов, — рекордное событие даже в мире, изобилующем рекордами. Каким-то способом — каким именно, Конвэй не понимал, поскольку не был финансовым экспертом, — Брайант попытался затеять спасительную для себя игру на Уолл-стрит, в итоге чего и последовал ордер на его арест. Он бежал в Европу, и в полдюжины стран были направлены требования о его выдаче.

В конце концов Конвэй сказал:

— Ладно, если последуешь моему совету, ничего никому говорить не станешь. И не ради него, а ради нас самих. А вообще-то можешь поступать как угодно. Только не забывай, этот человек может все-таки оказаться не тем, за кого ты его принимаешь.

Но то был именно Брайант, что и обнаружилось вечером после ужина. Чанг удалился, мисс Бринклоу углубилась в тибетскую грамматику, а трое мужчин сидели тесным кружком с кофе и сигарами. За едой разговор не прекращался благодаря такту и общительности китайца. Теперь, в его отсутствие, установилось довольно-таки неприятное молчание. У Барнарда вдруг иссяк запас шуток. Конвэй понял, что Мэлинсон не в силах обращаться с американцем так, словно ничего не произошло. А Барнард пронизательно почувствовал: что-то случилось.

Неожиданно американец отбросил прочь сигару.

— Полагаю, всем вам известно, кто я такой, — сказал он.

Мэлинсон покраснел, как красна девица, но Конвэй ответил обычным спокойным голосом:

— Да, Мэлинсон и я считаем, что нам это известно.

— Чертовски неосторожно было с моей стороны разбросать эти вырезки.

— Все мы иногда бываем неосторожными.

— Ну, вы, как посмотрю, приняли это довольно спокойно. Уже неплохо.

Снова наступило молчание, прерванное через некоторое время пронзительным голосом мисс Бринклоу:

— А я, уверяю вас, не знаю, кто вы такой, мистер Барнард, хотя должна сказать, все время догадывалась, что вы путешествуете инкогнито. — Все вопросительно посмотрели на нее, и она продолжила: — Помню, когда мистер Конвэй сказал о появлении наших имен в газетах, вы заметили, будто вас это не трогает. И тогда я подумала, что, наверное, Барнард — это не настоящее ваше имя.

Тот, медленно расплываясь в улыбке, зажег новую сигару.

— Мадам, — произнес он наконец, — вы не только проницательный детектив, но еще и удачно нашли точное слово для определения моего нынешнего положения. Я путешествую инкогнито. Вы так сказали, и вы предельно правы. Насчет вас, ребята, я в определенном смысле не жалею, что вы меня разоблачили. Пока никто из вас ничего не подозревал, все шло своим чередом. Но, учитывая, каково нам приходится, теперь с моей стороны было бы не очень-то по-товарищески пудрить вам мозги. Вы, друзья, всегда так милы со мной, и я не хочу стать источником неприятностей. Хорошо это или плохо, но в течение какого-то времени нам предстоит быть вместе и по возможности помогать друг другу. А что потом, это, полагаю, мы можем оставить — пусть улаживается ходом последующих событий.

Все это показалось Конвэю на редкость здравым, поэтому он посмотрел на Барнарда со значительно возросшим интересом и даже в какой-то мере с искренним одобрением. Забавно было думать об этом тяжелом, плотном, по-отечески доброжелательном человеке как о крупнейшем мошеннике в мире. Гораздо

больше он напоминал того, кто при некотором дополнительном образовании мог бы оказаться уважаемым директором начальной школы. При всей его жизнерадостности на нем лежала печать недавних тревог и забот. Но это не означало, что сама жизнерадостность вымученна. Очевидно, он был именно таким, каким казался, как говорят, «добрым малым». По природе ягненок и лишь по профессии акула.

Конвэй сказал:

— Да, так будет лучше всего, не сомневаюсь.

Тогда Барнард рассмеялся, словно в его хранилищах оставалось еще много веселья, которое он лишь теперь мог пустить в ход.

— Боже, до чего же забавно! — воскликнул он, вытягиваясь в кресле. — Я имею в виду свою проклятую историю. Через всю Европу, потом в Турцию, в Персию и вплоть до этого завалящего городишки! Полиция все время наступает на пятки, понимаете ли. В Вене они чуть меня не сцапали! Когда за вами охотятся, это поначалу изрядно возбуждает, но потом начинает немного выводить из себя. Впрочем, в Баскуле у меня получился неплохой отдых. Я думал, мятеж надежно меня укроет.

— И укрыл бы, — подтвердил Конвэй с легкой улыбкой. — Только не от пуль.

— Да, и под конец это начало меня тревожить. Должен вам сказать: выбор оказался тяжеленным — остаться в Баскуле и получить дырку в голове или согласиться на путешествие в самолете, принадлежавшем вашему правительству, и вложить руки в браслеты, поджидающие тебя при посадке. Не сказал

бы, что я горел желанием принять любой из этих вариантов.

— И впрямь не горели, я помню.

Барнард снова рассмеялся:

— Да, так оно и было. И можете теперь сами догадаться, что когда все перевернулось и судьба зашвырнула сюда, это не вызвало у меня больших переживаний. Это первоклассное приключение и, с моей точки зрения, лучший выход в моей ситуации. Не люблю жаловаться, когда у меня все хорошо.

Улыбка Конвэя стала совсем сердечной.

— Очень разумный взгляд на вещи, хотя, думаю, вы старались несколько больше, чем следовало. Все мы удивились, почему это вы такой довольный.

— Да, но я и был доволен. Это неплохое место, когда к нему привыкаешь. Воздух поначалу немного колючий, но нельзя же все сразу. Тут мило, тихо — не всегда так бывает. Каждую осень я езжу на Палм-Бич, на курорт, но в тех местах такого вы не получите. Как ни крутитесь, там властвует тот же рэкет. Но здесь я получаю именно то, что доктор прописал, и, ей-ей, здорово себя чувствую. Диета, какая нужна. Глядеть на телеграфную ленту не надо. А мой брокер уж точно не позвонит.

— Наверное, он позвонил бы, если б мог.

— Факт. Нужно расхлебывать страшную кашу, и я это знаю.

Он сказал это так просто, что Конвэй не удержался и заметил:

— Не могу причислить себя к знатокам так называемых больших финансов.

Это была подсказка, и американец откликнулся на нее без малейшего сопротивления.

— Большие финансы, — заметил он, — это по преимуществу большая чепуха.

— Мне это часто приходило в голову.

— Смотрите, Конвэй, вот как я вам это изображу. Ты делаешь только то, что делал годами и что делал и другие, и вдруг рынок поворачивается против тебя. Ты тут бессилён. Но напрягаешься и ждешь поворота к лучшему. А этот поворот почему-то не наступает, как всегда раньше. И ты уже потерял десяток миллионов долларов, когда вдруг читаешь в газете, что, по мнению одного шведского профессора, приближается конец света. Теперь я вас спрашиваю, это помогает восстановлению рынка? Конечно, тебя еще немножко тюкает, но ты все равно ничего предпринять не можешь. Так оно и идет, пока не являются полицейские. Я их ждать не стал.

— Вы утверждаете, это было лишь невезение?

— Ну конечно же. Я располагал большими средствами.

— Вы также распоряжались чужим и деньгами, — резко вставил Мэлинсон.

— Да, разумеется. А почему? Так как все они хотели получить кое-что даром, и им не доставало ума сделать деньги самим.

— Не так. Это потому, что они вам доверяли и полагали, их деньги не пропадут.

— Нет, в безопасности деньги не были. Не могли быть. Безопасности вообще не существует, и те, кто думает иначе, уподобляются наивным дурачкам, которые под зонтиком ищут защиту от тайфуна.

Конвэй примирительно сказал:

— Ну, мы все готовы признать, что совладать с тайфуном вам не по силам.

— Я даже и не пытался ему противостоять. Толку было бы столько же, что и от наших попыток изменить течение событий после вылета из Баскула. Сходство положений поразило меня, когда там, в самолете, я видел, как вы сохраняете нерушимое спокойствие, а вот Мэлинсон трепыхался. Вы знали, что ничего не можете изменить, а потому вам было наплевать. Как и мне — когда рухнула моя фирма.

— Ерунда! — закричал Мэлинсон. — Каждый может быть честным человеком. Главное, играть по правилам.

— Что чертовски трудно делать, когда вся игра разлетается на куски. К тому же ни одна живая душа на всем белом свете не знает, что это за правила. Все профессора Гарварда и Йеля не смогут вам сказать, в чем они состоят.

Мэлинсон ответил довольно печально:

— Я имею в виду несколько совсем простых правил обыденного поведения.

Конвэй поспешил вмешаться:

— Лучше нам не вдаваться в споры. Я нисколько не возражаю против сравнения ваших дел с моими. Несомненно, в последнее время все мы находимся в слепом полете — в буквальном и переносном смысле. Но

сейчас мы здесь. Это существенно. И я согласен, что у нас могло бы оказаться больше поводов для недовольства. Занятно, если подумать: из четырех человек, выбранных наугад и перенесенных на тысячу миль, трое способны найти себе некоторое утешение в этой передрыге. Мисс Бринклоу рада, что ей выпало обратить в христианскую веру язычников-тибетцев.

— А кто третий, по вашему счету? — встрял Мэлинсон. — Не я, надеюсь?

— Третьим я посчитал себя, — ответил Конвэй. — И обо мне сказ самый простой — мне здесь нравится, только и всего.

Действительно, несколько позже, отправившись на ставшую уже привычной одинокую вечернюю прогулку по террасе мимо затянутого лотосом пруда, он испытал физическое и умственное умиротворение. Он сказал совершеннейшую правду: ему нравилось быть в Шангри-ла. Ее атмосфера успокаивала, а таинственность возбуждала. В целом же возникало чувство удовлетворения. В течение нескольких дней он постепенно, на ощупь приближался к удивительному выводу относительно монастыря и его обитателей. Его мозг был занят этим, пребывая в то же время в невозмутимом спокойствии. Так математик решает замысловатую задачу — она его беспокоит, но отвлеченно.

Что до Брайанта, которого он решил и про себя, и в лицо по-прежнему называть Барнардом, вопрос о его деяниях и о самой его личности сразу же ушел в тень. Осталась только фраза: «Вся игра разлетается на куски». Конвэй поймал себя на том, что постоянно повторяет ее и придает большее значение, чем сам американец. Он

услышал в ней истину, выходящую далеко за пределы управления американскими банками и холдингами. Она относилась и к Баскулу, и к Дели, и к Лондону, к войне и строительству империи, консульствам, торговым концессиям и званым обедам в резиденции губернатора. Все это соединялось в воспоминаниях о прошлом мире. Крах Барнарда, возможно, оказался более драматичным, чем его собственный. Вся игра, несомненно, разлетелась на куски, но, к счастью, в иных случаях игроков не привлекали к ответу за то, что они не сумели сберечь остатки прежнего достояния. В этом отношении финансистам приходится хуже.

Но здесь, в Шангри-ла, царил глубокий покой. В безлунном небе ярко горели звезды, и бледная голубая вуаль лежала на склонах Каракала. Конвэй подумал, что, если в связи с какой-то переменной планов носильщики из внешнего мира появятся здесь немедленно, он не очень обрадуется. Равно как и Барнард, размышлял он улыбаясь. Занятно это было, право. И вдруг он понял, что Барнард ему по-прежнему нравится, иначе бы не пришли эти мысли. Как-то получилось, что сто миллионов долларов — слишком большие деньги, чтобы за их потерю отправлять человека за решетку. Проще было бы, укради он всего-навсего часы. И в конце концов, как это можно потерять сто миллионов? Разве только в том смысле, в каком некий министр кабинета может, надувшись, объявить, что ему «вручили Индию».

И опять он задумался о том времени, когда покинет Шангри-ла. Он представил себе долгое, изнурительное путешествие и потом момент прибытия в бунгало какого-нибудь плантатора в Сиккиме или Балтистане^[22]

²² Сикким, Балтистан — небольшие феодальные государства «под протекторатом

— момент, который, он чувствовал, окажется радостным, но, возможно, и слегка разочаровывающим. Будут первые рукопожатия и первые взаимные представления, первые бокалы на клубных верандах, опаленные солнцем лица, уставившиеся на него с едва скрываемым недоверием. В Дели, конечно, начнутся беседы с вице-королем и чинами гражданской службы, приветствия увенчанных тюрбанами слуг, нескончаемая чередка докладов, которые предстоит готовить и отсылать. Возможно, и возвращение в Англию, в Уайтхолл. Палубные забавы на пароходе. Мягкое рукопожатие какого-нибудь заместителя секретаря, интервью газетам, жесткие, насмешливые, возбужденные голоса женщин: «А правда ли, мистер Конвэй, когда вы были в Тибете?..» В одном сомнений не оставалось: его байки позволят в течение целого сезона наслаждаться зваными обедами. Но принесет ли это радость? Он вспомнил фразу, записанную Гордоном^[23] в дневнике в последние дни Хартума: «Мне было бы лучше жить, как дервиш, при Махди, чем каждый вечер отправляться на обеды в Лондоне». У Конвэя столь явного отвращения к обедам не возникало. Он только предчувствовал, что рассказывать свою историю в прошедшем времени ему будет очень скучно и немного печально.

Вдруг его раздумья прервал появившийся рядом Чанг.

Индии», расположенные в Гималаях на границе с Китаем.

²³ Гордон, Чарлз Джордж (1833–1885) — ярчайшая фигура в истории британских колониальных войн и строительства империи. Погиб на посту губернатора Судана при захвате Хартума повстанцами под руководством Махди (1844–1885).

— Сэр, — начал китаец. И, несколько ускорив свой медленный шепот, объявил: — Я горд выступить в роли человека, который принес важное известие...

«Итак, носильщики все-таки прибыли раньше назначенного времени», — первое, что подумал Конвэй. Удивительно, ведь он только несколько минут назад размышлял об этом. И он почувствовал болезненный укол, к которому был готов.

— Да? — сказал он вопросительно.

Чанг находился в крайней степени взволнованности, насколько это было возможно для него физически.

— Мой дорогой сэр, я поздравляю вас, — продолжал он. — И я счастлив при мысли, что в какой-то мере благодаря мне... После моих усиленных и неоднократных рекомендаций Верховный Лама принял решение. Он хочет видеть вас сейчас же.

Во взгляде Конвэя был вопрос.

— Вы менее собранны, чем обычно, Чанг. Что случилось?

— Верховный Лама послал за вами.

— Это я понял. Но почему столько суеты?

— Потому что это исключительное и беспрецедентное событие. Даже я, который на этом настаивал, не ожидал. И двух недель не прошло, как вы прибыли. И теперь будете приняты им! Никогда раньше это не происходило так скоро!

— И все же я, знаете ли, не совсем понимаю. Через короткое время мне предстоит увидеть вашего

Верховного Ламу — это ясно. Но это означает и что-то еще?

— Да разве этого мало?

Конвэй засмеялся.

— Достаточно, уверяю вас. Не считите, что проявляю непочтительность. По правде сказать, сначала мне пришло в голову нечто совсем иное. Но не обращайтесь внимания, теперь это не важно. Конечно, для меня будет и честью, и удовольствием встретиться с высокочтимым джентльменом. Когда это случится?

— Сейчас. Я послан, чтобы привести вас к нему.

— А не поздновато ли?

— Это не имеет значения. Мой дорогой сэръ, скоро вы очень многое поймете. И позвольте дополнительно выразить от себя лично удовольствие, что этот отрезок времени, полный стеснительных недомолвок, теперь заканчивается. Поверьте, мне было неловко многократно отказывать вам в информации, очень неловко. Меня наполняет радостью сознание, что в подобных неприятностях никогда больше не будет нужды.

— Станный вы человек, Чанг, — ответил Конвэй. — Но давайте двигаться. Не беспокойтесь насчет дальнейших объяснений. Я вполне готов, и я ценю ваши любезные заявления. Показывайте дорогу.

Глава седьмая

Следуя за Чангом по пустым дворикам, Конвэй внешне сохранял полную невозмутимость, но за ней скрывалось нарастающее с каждым шагом любопытство. Он был на пороге открытия. Скоро он узнает, так ли уж невероятна его теория.

И потом, предстоящая беседа, несомненно, окажется интересной. В жизни ему доводилось встречаться со многими необычными властителями. Конвэй всегда внимательно наблюдал за ними, в своих оценках, как правило, не ошибался. Не страдая застенчивостью, он обладал счастливой способностью поддерживать вежливый разговор даже на языках, которые знал едва-едва. Сейчас, впрочем, ему предстояло главным образом слушать.

Он заметил, что Чанг ведет его через плохо освещенные комнаты, в которых он прежде никогда не был. Затем лестница спиралью поднялась к одинокой двери. Чанг постучался, и дверь тотчас же распахнулась, заставив Конвэя заподозрить, что открывший ее слуга-тибетец специально ждал их прихода. Эта высоко расположенная часть монастыря была украшена с не меньшим вкусом, чем другие уже знакомые Конвэю помещения. Но больше всего впечатляла здесь жара — сухая, обжигающая, будто все окна были наглухо закрыты и некий нагревательный агрегат работал на полную мощность. Они шли дальше, духота возрастала, наконец Чанг остановился перед дверью, которая, по ощущениям Конвэя, могла бы служить входом в турецкую баню.

— Верховный Лама, — прошептал Чанг, — будет говорить с вами с глазу на глаз.

Он пропустил Конвэя вперед и тут же неслышно притворил за ним дверь, Конвэй остановился в нерешительности, свыкаясь с духотой и полумраком. Понадобилось несколько секунд, чтобы глаза его постепенно освоились, и он разглядел затененную шторами комнату с низким потолком. Вся ее меблировка ограничивалась столом и несколькими стульями. Один стул был занят. На нем сидела маленькая, бледная и сморщенная фигура, подобная неподвижной тени, чем-то напоминая выцветший старинный портрет, выполненный способом кьяроскуро — распределением светотени. Если мыслима жизнь духовная, а не телесная, то тут она была представлена в полной мере. Конвэй пытался сообразить, верно ли его сознание отражает происходящее или это просто реакция на густую сумрачную жару. Голова у него шла кругом под взглядом этих древних глаз. Он сделал несколько шагов вперед и остановился. Сидевший на стуле обрел теперь более четкие очертания. Это был маленький старый человек в китайской одежде, болтавшейся на плоской, истощенной фигуре.

— Вы мистер Конвэй? — прошептал он на отличном английском языке.

Голос был приятно успокаивающим и звучал с мягкой грустью, благодатно подействовав на Конвэя, хотя скептик, сидевший внутри его, снова попытался все свалить на температуру воздуха.

— Да, — ответил он.

Человек продолжал:

— Рад вас видеть, мистер Конвэй. Я послал за вами, посчитав, что хорошо бы нам поговорить друг с другом. Пожалуйста, сядьте рядом со мной и ничего не бойтесь. Я стар и не могу причинить никакого вреда.

Конвэй произнес:

— Я почитаю ваше приглашение за честь.

— Благодарю вас, дорогой мой Конвэй. Буду называть вас так, как у нас принято. Для меня, как я уже сказал, это очень приятная встреча. У меня слабое зрение, но, поверьте, я могу видеть душой не хуже, чем глазами. Надеюсь, вы чувствуете себя уютно в Шангри-ла?

— В высшей степени.

— Я рад. Чанг, несомненно, расстарался ради вас. Для него это тоже было большое удовольствие. Он рассказал мне, что вы задавали много вопросов о нашей общине, о наших делах.

— Конечно, это очень меня занимает.

— Тогда, если вы уделите мне немного времени, я буду рад вкратце рассказать вам о нашей обители.

— Ничто бы не доставило мне большего удовольствия.

— Я так и думал — и надеялся... Но сначала, до того, как мы приступим к беседе...

Он едва заметно шевельнул рукой, и, немедленно, откликаясь на почти незаметный для Конвэя знак, вошел слуга, чтобы приготовить элегантный ритуал чаепития. Маленькие, напоминавшие половинки яичной скорлупы чашки с бесцветной жидкостью были поданы на лакированном подносе. Конвэй, знавший эту церемонию,

воспринимал ее как должное, без тени пренебрежения. Голос старика зазвучал снова:

— Значит, наши обычаи вам знакомы?

В порыве откровенности, который он не смог бы объяснить, но и не имел желаний сдерживать, Конвэй ответил:

— Я жил в Китае несколько лет.

— Чангу вы об этом не рассказывали.

— Нет.

— А почему мне такая честь?

Конвэй редко терялся с объяснениями своих мотивов, но в этом случае он никак не мог придумать причину. Наконец произнес:

— По правде говоря, не имею ни малейшего представления, если не считать, что у меня явно возникло желание поведать вам об этом.

— Лучшая, я убежден, из всех возможных причин, когда это происходит между теми, кто собирается стать друзьями... Ну скажите, не нежнейший ли это аромат? Чаи в Китае многочисленны и пахучи, но этот, особый продукт нашей долины, по-моему, вполне им равен.

Конвэй поднес чашечку к губам и попробовал. Вкус был тонкий, неуловимый, неясный — некий призрачный букет, который скорее угадывался, чем чувствовался на языке. Он сказал:

— Это восхитительно, и пробую я такое впервые.

— Да, как и очень многие травы нашей долины, он и неповторим, и драгоценен. Пить его надо, конечно, очень медленно — не только из уважения к приятному напитку,

но и для того, чтобы извлечь удовольствие сполна. Это знаменитый урок, данный нам Гу Кайчжи, жившим около пятнадцати веков назад. Он всегда колебался, прежде чем откусить от сочной мякоти сахарного тростника, поскольку, объяснял он, «я постоянно ввожу себя в область наслаждений». Изучали ли вы кого-нибудь из великих китайских классиков?

Конвэй ответил, что некоторых немного читал. Он знал, что легкая несущественная беседа будет, согласно этикету, продолжаться, пока не унесут чашки. Но это вовсе не раздражало его, несмотря на острое желание услышать историю Шангри-ла. Несомненно, в нем самом содержалась частичка Гу Кайчжи, человека, умевшего сдерживать и направлять свои чувства.

Наконец был подан незаметный знак. Слуга мягко вошел в комнату, удалился, и без всяких дальнейших предисловий Верховный Лама Шангри-ла начал рассказ:

— Вероятно, мой дорогой Конвэй, вы знакомы в общих чертах с историей Тибета. Чанг говорил мне, что вы широко пользовались здешней библиотекой, и я не сомневаюсь, вы заглянули в немногие, но очень интересные хроники здешних мест. В любом случае вам должно быть известно, что в Средние века христианство несторианского толка было нашептано Азии и память о нем сохранялась еще долго после его упадка. В семнадцатом веке возрождение христианства в Азии было прямо предписано Римом. И это стало задачей миссионеров-иезуитов, о деяниях которых, если мне позволительно сделать такое замечание, читать интереснее, чем о деяниях святого Павла. Постепенно церковь утвердилась на огромной территории, и замечательный факт, пока еще не осознанный

европейцами, состоит в том, что христианская миссия в течение тридцати восьми лет просуществовала в самой Лхасе. Однако не из Лхасы, а из Пекина в 1719 году четыре монаха-капуцина отправились на поиски осколков несторианской веры, которые могли сохраниться в глубинной части страны.

Многие месяцы они двигались на юго-запад, через Ланьчжоу и Кукунор, испытывая трудности, которые вы можете легко себе представить. Трое скончались по дороге, а четвертый был на краю смерти, когда нечаянно ступил на скалистую тропу, которая поныне остается единственным путем в долину Голубой Луны. Там, к радости своей и удивлению, он нашел дружелюбное и процветающее население, и здешние люди поспешили выказать то, что я всегда считал древнейшей нашей традицией, — гостеприимство к чужестранцу. Он быстро поправил свое здоровье и начал проповедовать. Местные жители были буддистами, но они готовы были слушать его, и он имел немалый успех. Тогда здесь, на этой самой горе, располагался древний ламаистский монастырь, но он находился в состоянии разрухи — физической и духовной. Вокруг капуцина стали собираться единомышленники, и у него возникла мысль поставить на этом месте христианскую обитель. Под его надзором старые здания были отремонтированы и по большей части основательно перестроены. И он сам переселился сюда в 1734 году, когда ему от роду было пятьдесят три года.

Давайте я побольше расскажу вам об этом человеке. Звали его Перро, и родом он был из Люксембурга. Прежде чем посвятить себя миссионерской деятельности на Дальнем Востоке, он учился в Париже, Болонье и других университетах. В какой-то мере он был ученым.

Мало что известно о ранних годах его жизни, но в ней не было ничего необычного для людей его времени и его рода занятий. Он любил музыку и живопись, обладал большими способностями к языкам и, до того, как уверовал в свое призвание, познал обычные мирские радости. Битва при Мальплаке^[24] произошла в его юности, и он на личном опыте почувствовал ужасы войны и вражеского вторжения. Физически он был крепок. В первые годы своей жизни здесь он, как все, работал руками. Ухаживал за собственным садом и учился у местных жителей, в то же время обучая и их. В долине он обнаружил золото, но оно его не соблазнило. Его больше занимали здешние растения, травы. Он был смиренным, но ни в коем случае не лицемерным. Он не одобрял существовавшего здесь обычая полигамии. Но с другой стороны, не видел никаких оснований обрушиваться на местное увлечение ягодой тангатце, которой приписывались лечебные свойства, но которая пользовалась популярностью главным образом потому, что имела свойство слабого наркотика. Перро, по правде сказать, и сам стал в какой-то мере приверженцем этого наркотика. Таким образом, он принимал местную жизнь со всем, что она предлагала и что он находил безвредным и приятным. В обмен он давал духовные ценности Запада. Он не был аскетом. Он наслаждался благами мирской жизни и старался обучать новообращенных не только катехизису, но и искусству кухни. Я хочу, чтобы вы составили себе впечатление о нем как об очень серьезном, деловом, образованном, простом и полном энтузиазма человеке, который,

²⁴ Битва при Мальплаке — крупнейшее сражение в войне за испанское наследство, состоявшееся 11 сентября 1709 г. близ селения Мальплаке (Бельгия).

оставаясь священнослужителем, не брезговал облачиться в рабочую одежду каменщика и собственными руками возводить вот эти самые стены. Конечно, это была невероятно трудная работа, такая, что с ней можно было справиться только при его гордости и упорстве. Я говорю о гордости, потому что сначала это был, несомненно, господствующий мотив — гордость за приверженность к его вере, заставлявшая рассуждать так: если Гуатама смог вдохновить людей на сооружение храма на отвесной скале Шангри-ла, то и Рим способен сделать не меньше.

Но время шло, и отнюдь не в нарушение естественного порядка вещей этот мотив постепенно уступил место другим, более спокойным побуждениям. Соперничество — это, в конце концов, дух юности, а Перро к тому времени, когда монастырь прочно утвердился, был уже зрелым человеком. Вы должны иметь в виду, что, строго говоря, он действовал, не очень-то следуя установленным правилам. Хотя тут нужно сделать определенную скидку. Ведь его церковные начальники находились на расстоянии, измеряемом скорее годами, чем милями. А люди в долине и даже сами монахи нисколько не осуждали его свободного отношения к предписаниям иерархов веры. Его здесь любили, его слушались, а с годами стали и почитать. Он взял себе в привычку время от времени посылать отчеты епископу в Пекин, но они туда попадали нечасто. И поскольку это происходило потому, что гонцы становились жертвами дорожных бедствий, Перро все меньше и меньше готов был рисковать их жизнями и с началом второй половины века вовсе оставил эту практику. Тем не менее некоторые из более ранних его посланий, видимо, дошли по назначению и заставили церковников усомниться в правильности его

деятельности, ибо в 1769 году чужестранец принес письмо, написанное двенадцатью годами раньше и вызывавшее Перро в Рим.

Если бы это распоряжение не задержалось, он получил бы его, когда ему перевалило уже за семьдесят, а теперь ему исполнилось уже восемьдесят девять. Нечего было и думать о дальней дороге через горы и плато. Он никогда не смог бы вынести жгучих ветров и жестоких морозов окружающей пустыни. Поэтому он послал вежливый ответ с объяснениями, как обстоят дела, но нет никаких свидетельств, что его послание перебралось через великие хребты.

Итак, Перро остался в Шангри-ла, не нарушая приказы свыше, а потому что для него физически невозможно было их выполнить. В любом случае он был старым человеком, и смерть, по всей вероятности, уже скоро положила бы конец и ему самому, и его отступлениям от установленного порядка. К этому времени основанная им обитель кое-чего добилась. Но может, стоит пожалеть, что она не смогла сделать большего во славу Христовой веры. Хотя едва ли можно ожидать, будто один человек, без чьей-либо помощи способен полностью выкорчевать обычаи и традиции целой эпохи. При нем не было западных коллег, способных твердо держать линию, когда его собственная власть ослабла. И скорее всего вообще ошибкой было решение строиться на месте, где в памяти людей еще сохранялись более древние представления, резко отличные от христианских. От него требовалось слишком много. Но не большим ли требованием было ожидать от седовласого старца, перешагнувшего через девяностолетний порог, чтобы он мог осознать

совершенную им ошибку? Перро, во всяком случае, тогда ее не замечал. Он был слишком стар и слишком счастлив.

Его последователи оставались преданы ему, даже позабыв его учение, а люди долины относились к нему с таким уважением, такой любовью, что он прощал — и чем дальше, тем легче — их возвращение к прежним обычаям. Он оставался человеком деятельным, и его способности, на удивление, не угасали. В девяносто восемь лет он занялся изучением буддистских писаний, оставленных в Шангри-ла обитателями прежнего монастыря, намереваясь посвятить остаток жизни сочинению книги, развенчивающей буддизм с точки зрения правоверного христианства. Он и впрямь выполнил эту задачу (у нас есть его рукопись), но критика буддизма получилась очень нежной, так как к тому времени он перешагнул рубеж, отмечаемый круглой цифрой, — достиг столетнего возраста — и склонность к язвительным выпадам прошла.

Между тем, как вы можете предположить, многие из его прежних учеников умерли, и поскольку мало кто приходил на их место, число обитателей монастыря под властью старого капуцина неуклонно сокращалось. С прежних восьмидесяти оно скатилось до пары десятков, потом всего до дюжины человек, которые и сами находились в преклонном возрасте. Жизнь Перро в это время текла спокойно и плавно — в ожидании конца. Он был чересчур стар для болезней и недовольств. Только вечный сон мог настичь его теперь, и этого он не боялся. Люди из долины по доброте своей снабжали его едой и одеждой, а библиотека предоставляла ему занятие. Он стал довольно хрупким, но сохранял достаточно сил, чтобы выполнять важнейшие церемониальные обязанности, лежавшие на нем по

должности. В целом же он проводил спокойные дни со своими книгами, воспоминаниями и тихими радостями, которые давал здешний наркотик. Его ум оставался невероятно ясным, и он начал даже осваивать некоторые приемы индийской йоги, основанные на особых способах дыхания. Для человека такого возраста затея вполне могла оказаться рискованной, и действительно, вскоре, в памятном 1789 году, в долину спустилось известие, что Перро наконец умирает.

Он, мой дорогой Конвэй, лежал в этой самой комнате. За окном светилось белое пятно — то, что с его ослабшим зрением он мог разглядеть на месте Каракала. Но он способен был видеть и душой. Он четко представлял себе безукоризненную геометрическую фигуру, которая впервые предстала его взору полвека назад. Передним красочной вереницей проходили также многие события его жизни: годы путешествий через пустыню и высокогорье, огромные скопища людей в западных городах, бряцание оружия и блеск войска Мальборо.^[25] Его ум погрузился в белоснежную тишину умиротворения. Он приготовился, хотел и рад был умереть. Он собрал вокруг себя друзей и слуг и попрощался с ними. Потом он попросил оставить его одного. Именно в одиночестве, когда тело его погружалось в небытие, а душа возносилась к благодати, он и надеялся расстаться с жизнью. Но этого не случилось. Много недель он лежал без пищи, без движений, а потом начал выправляться. Ему было сто восемь лет.

²⁵ Мальборо, Джон Черчилль (1650–1722) — английский политический деятель и полководец.

Рассказ на мгновение прекратился, и Конвэю, слегка шевельнувшись, показалось, что Верховный Лама словно считывал свою речь или переводил ее с языка далекой, тайной мечты. Наконец тот заговорил снова:

— Подобно другим, кто долго стоял у порога смерти, Перро удостоился видения, полного смысла. И об этом видении надо будет потом сказать дополнительно. Пока отмечу только, что его действия и поведение были поистине замечательны. Ибо он не стал выздоравливать, как следовало ожидать, в полном покое, а ринулся в жизнь. Подчинил себя строжайшей самодисциплине, причудливым образом вписав в нее и свою приверженность наркотику. Увлечение ягодой тангатце и дыхательные упражнения — вроде это не лучший способ противостоять смерти. Но фактом остается то, что когда в 1794 году умер последний из старых монахов, сам Перро еще был жив.

Это, пожалуй, вызвало бы улыбку, появись в Шангри-ла кто-нибудь с достаточно искаженным чувством юмора. Сморщенный капуцин, уже дюжину лет, в сущности, калека, упорствует в совершении загадочных обрядов, им самим придуманных. А между тем для обитателей долины он вскоре стал человеком, окутанным тайной, одиноким хозяином огромной скалы, отшельником, наделенным непостижимой властью над жизнью. Сохранялась и прежняя бесхитростная любовь к нему, так что в обычай вошло подниматься в Шангри-ла и оставлять здесь какой-нибудь простенький подарок или выполнять мелкую ручную работу. Это почиталось за добродетель, и возникло поверье — так прокладывается дорога к счастью. Всех приходивших сюда Перро благословлял, забывая, — может быть, и сознательно, — что перед ним заблудшие овцы. Ибо «Слава Тебе,

Господь наш» и «Ом Мани Падме Хум» стали уже молитвами, которые звучали в храмах долины на равных.

По мере приближения нового столетия легенда обросла новыми подробностями. Говорилось, что Перро стал богом, он творит чудеса и иногда по ночам летает на вершину Каракала, дабы поставить свечку на небо. В полнолуние эта гора всегда озарена бледным сиянием, но мне нет нужды уверять вас, что ни Перро, ни кто-либо другой никогда туда не взбирался. Может, и не стоило этого упоминать, но уж очень распространились слухи о самых невероятных свершениях Перро. Пошли, например, разговоры, будто он предается искусству левитации — тому самому, о котором часто упоминается в буддистских писаниях. Он и впрямь много экспериментировал, пытаясь оторвать себя от земли, но совершенно безуспешно. Он действительно открыл, однако, что утрата одних чувств может быть восполнена развитием других. Он овладел искусством телепатии, что, возможно, необходимо отметить. И хотя он нисколько не притязал на врачевательство, в самом его присутствии заключалось некое свойство, помогавшее при некоторых болезнях.

Вам хотелось бы знать, как он проводил время в эти беспримерные годы? Сложившимся у него взгляд на вещи можно обобщить, сказав, что, не умерев в положенном возрасте, он стал считать, будто не существует доступной разумению причины, по которой он должен — или не должен — умереть в будущем. Располагая явным доказательством, что он выпадает из общего правила, поверить в свою исключительность оказалось так же легко, как и в то, что конец ей может быть положен в любой миг. Поэтому он стал вести себя, нисколько не задумываясь о неизбежном, так долго занимавшем его

мысли. Он начал жить, как всегда мечтал, но редко мог себе позволить. Ибо в сердце своем при всех передрягах он хранил верность устремлениям и пристрастиям ученого. Память у него была поразительная. Казалось, она вырвалась из плена физической плоти и вознеслась в некую высшую сферу чрезвычайной прозрачности. Сейчас он все запоминал гораздо легче, чем в студенческие годы. Довольно быстро он ощутил потребность в книгах. Некоторые он прихватил еще из Пекина, и среди них, вам будет это интересно, были английская грамматика, словарь и томик Монтеня в английском переводе Флорио. С помощью этих книг он умудрился овладеть тонкостями вашего языка, и здесь, в библиотеке по сей день хранится рукопись одного из первых его лингвистических опытов — перевод эссе Монтеня о тщеславии на тибетский язык. Несомненно, уникальный литературный продукт.

Конвэй улыбнулся:

— Я бы хотел как-нибудь взглянуть, если будет позволено.

— С превеликим удовольствием. Вы, возможно, посчитаете это исключительно непрактичным свершением. Но вспомните: Перро достиг исключительно непрактичного возраста. Он затосковал бы без подобных занятий. По крайней мере скука одолевала бы его до четвертого года девятнадцатого столетия, на который приходится важное событие в истории нашей обители. Ибо именно тогда в долине Голубой Луны появился второй европеец. Это был молодой австриец по имени Хеншель, участвовавший в войне Наполеона в Италии, — юноша благородного происхождения, высокой культуры, обходительный и во многих отношениях очаровательный.

Война лишила его состояния, и он отправился через Россию в Азию с неясными расчетами вернуть утраченное богатство. Интересно было бы узнать, как он попал на плато, но он сам не имел на сей счет ясного представления. Да и то сказать, когда он сюда прибыл, он также находился на волосок от смерти, как некогда сам Перро. Шангри-ла оказала свое обычное гостеприимство, и чужестранец воспрянул. Но на этом сходство двух судеб кончается. Ибо Перро явился проповедовать и распространять веру, а Хеншель немедленно заинтересовался золотыми россыпями. Он стремился разбогатеть и возможно скорее вернуться в Европу.

Но он не вернулся. Случилась странная вещь. Впрочем, потом подобное происходило очень часто, а значит, и тогда ничего странного, в сущности, не было. Долина с ее покоем и полной свободой от мирских забот удерживала Хеншеля, заставляла снова и снова откладывать расставание с нею, и в один прекрасный день, заинтересовавшись услышанной им легендой, он поднялся в Шангри-ла и впервые встретился с Перро.

Эта встреча оказалась поистине исторической. Перро, хотя уже и не был подвержен таким человеческим чувствам, из которых вырастает дружба или привязанность, все же обладал душевным богатством. И на юношу общение с ним подействовало, как действует влага на иссушенную землю. Не буду описывать союз, связавший этих людей. Один вкладывал в него беззаветное обожание. Другой делился знаниями, видениями и далекими мечтами, ставшими для него единственной реальностью в этом мире.

Наступила пауза, и Конвэй очень тихо сказал:

— Извините, что прерываю, но здесь мне не все ясно.

— Я знаю. — Сказано это было шепотом и с совершеннейшей благосклонностью к слушателю. — Иначе и быть не может. Непонятное я с удовольствием разъясню еще до завершения нашей беседы. Но сейчас, с вашего разрешения, я ограничусь более простыми вещами. Вот один факт, который вас заинтересует. Хеншель положил начало нашей коллекции китайского искусства, а также нашей библиотеке и музыкальным приобретениям. Он совершил удивительное путешествие в Пекин и в 1809 году доставил оттуда первую партию груза. Больше он не покидал долину, но именно благодаря его изобретательности была разработана сложная система, позволившая монастырю в дальнейшем получать из внешнего мира все, что нужно.

— Полагаю, у вас не возникло трудностей, поскольку рассчитывались вы золотом?

— Да, нам повезло с запасами металла, который так высоко ценится в других частях мира.

— Ценится действительно высоко, но особенно вам повезло в том смысле, что удалось избежать золотой лихорадки.

Верховный Лама склонил голову, выразив таким простейшим образом свое согласие.

— Этого, мой дорогой Конвэй, Хеншель опасался все время. Он очень заботился, чтобы ни один из носильщиков, доставлявших сюда книги и предметы искусства, никогда не подходил слишком близко. Он повелевал им оставлять поклажу в сутках ходьбы отсюда, сюда ее потом переносили наши люди из долины. Он

даже поставил часовых у входа на тропу. Но потом понял, что существует другой, куда более надежный способ охраны.

— Да? — Голос Конвэя прозвучал с опасливой напряженностью.

— Видите ли, бояться вторжения войск не было оснований. Это просто невозможно с учетом рельефа, климата и удаленности. Самое большее, что грозило долине, — это появление здесь горстки заблудившихся путешественников. Но даже если они окажутся при оружии, то будут так слабы, что не смогут представлять какой-либо опасности. Поэтому решено было, что чужестранцы могут приходить сюда совершенно свободно с одним-единственным условием.

Годы шли, и гости извне действительно появлялись. Китайские купцы, поддававшиеся искушению пересечь плато, порой попадали именно на эту тропу, хотя в горах есть множество других проходов и перевалов. Тибетские кочевники, отбившиеся от своего племени, искали здесь пристанище, как изможденные животные. Всех привечали, хотя некоторые находили здесь приют только для того, чтобы умереть. В год битвы при Ватерлоо два английских миссионера, отправившиеся из Пекина в путешествие через всю страну, пересекли горные хребты, преодолели неведомый перевал, и удача им так сопутствовала, что сюда они попали легко и спокойно — будто просто зашли с визитом. В 1820 году греческий купец в сопровождении больных, изголодавшихся слуг был найден умирающим на самой вершине перевала. В 1822 году три испанца, прослышавшие нечто неопределенное насчет золота, добрались сюда после долгих блужданий.

В 1830 году последовал более мощный приток гостей. Два немца, русский, англичанин и швед проделали ужасный переход через Тянь-Шань, гонимые страстью, которая становилась все более распространенной, — научными, исследовательскими интересами. Ко времени их приближения здесь, в Шангри-ла, правила приема пришельцев чуть-чуть изменились. Их не только тепло привечали, если они сами добирались до долины, но и стали выходить им навстречу, когда они оказывались где-то в окрестностях. Все это делалось по причине, к которой я еще вернусь, а пока важно отметить, что гостеприимство монастыря перестало быть пассивным. Теперь у него появились и нужда, и желание видеть новых пришельцев. И действительно, в последующие годы к нескольким группам исследователей, наслаждавшихся открывшимся им видом Каракала, являлись наши посланцы и сердечно приглашали в монастырь. Редко эти приглашения отклонялись.

Тем временем монастырь начал обретать свои нынешние черты. Я должен подчеркнуть, что Хеншель был человеком выдающихся способностей и талантов и что сегодняшняя Шангри-ла многим обязана ему как основателю. Да, именно так, думаю я частенько. Ибо у него была твердая и добрая рука. А это требуется каждой институции на определенной стадии ее развития. И утрата его оказалась совершенно невозполнимой. Одно только ее смягчает: работу, на которую понадобилось бы несколько обычных жизней, он успел выполнить один, прежде чем умер.

Конвэй поднял глаза и, эхом откликаясь на последнее слово, произнес:

— Умер!

— Да. Совершенно неожиданно. Он был убит. Это было в год восстания в Индии. Как раз перед его смертью китайский художник набросал его портрет, и я могу сейчас показать вам этот рисунок. Он здесь, в комнате.

Легкое движение руки, и снова вошел слуга. Конвэй будто замороженный наблюдал, как слуга отодвинул шторку в дальнем конце комнаты и зажег там фонарь, который покачивался, бросая тени. Затем он услышал шепот, приглашавший его подойти. Сделать это оказалось чрезвычайно трудно.

Он едва поднялся на ноги и шагнул в круг дрожавшего света. Рисунок был небольшой, миниатюра, выполненная цветной тушью. Но художник ухитрился передать восковую нежность кожи. Почти девичье, очень красивое лицо, в утонченных чертах которого Конвэй нашел такую притягательную силу, каковая проявляла себя вопреки всем барьерам времени, смерти и условностей искусства. Но самое поразительное пришло ему в голову уже после того, как миновал порыв восторга.

Это было лицо молодого человека.

Отходя от портрета, он, заикаясь, спросил:

— Но... вы сказали, что это было сделано незадолго до его смерти?

— Да. И очень большое сходство.

— Тогда, если он умер, как вы сообщили, в год...

— Именно тогда.

— И сюда он попал, говорили вы, в 1803 году юношей?

— Да.

Конвэй чуть помолчал, потом собрался я мыслями и спросил:

— И он был убит, сказали вы?

— Да. Один англичанин застрелил его. Это произошло через несколько недель после появления этого англичанина в Шангри-ла. Он тоже был из числа исследователей.

— А причина?

— Возникла ссора, что-то из-за носильщиков. Хеншель просто объявил ему важное условие, которое мы ставим, принимая гостей. Это задача, сопряженная с некоторыми трудностями, и с тех пор, несмотря на мою крайнюю слабость, я чувствую себя обязанным выполнять ее.

Верховный Лама снова замолчал, и теперь пауза длилась дольше, как бы намекая, что затронутая тема будет всплывать снова и снова. Возобновляя разговор, он произнес:

— Вероятно, вам, мой дорогой Конвэй, интересно узнать, что это за условие?

Конвэй ответил медленно и еле слышно:

— Думаю, я уже догадался.

— Неужели? А догадались ли вы о чем-нибудь еще, выслушав эту длинную и странную историю, которую я вам поведал?

У Конвэя голова шла кругом, пока он искал ответ. Комната теперь была водоворотом теней, и посреди нее находилось это древнее создание, воплощение благожелательности. Весь рассказ он слушал с таким напряжением, что оно, возможно, мешало ему полностью осознать смысл, который заключали в себе шепотом произносимые слова. И вот при первой же попытке обратиться с мыслями его захлестнуло удивление, и то ясное понимание, которое возникло у него в голове, вдруг заколебалось и померкло при попытке облечь его в слова.

— Это кажется невозможным, — заикаясь, проговорил он. — И все же не могу отделаться от мысли... это поразительно... и невероятно... совершенно немыслимо... свыше моих сил поверить...

— Что именно, сын мой?

И Конвэй ответил, сотрясаемый странным чувством, причину которого он не понимал и которое он старался скрыть:

— Что вы все еще живы, отец Перро.

Глава восьмая

Разговор на некоторое время прервался, поскольку Верховный Лама снова попросил принести чаю. Конвэй принял это как должное. Столь долгое повествование наверняка потребовало от рассказчика значительного напряжения сил. Да и сам он был рад передышке. Перерыв показался ему желательным даже и с эстетической точки зрения: чаепитие, по обычаю сопровождаемое обменом любезностями, выполняло ту же роль, что и каденция в музыке. Тут, если только это не было чистым совпадением, удивительным образом проявились телепатические способности Верховного Ламы. Прямо отзываясь на мысли Конвэя, он заговорил о музыке и выразил удовольствие, что музыкальные вкусы гостя не остались совсем уж неудовлетворенными в Шангри-ла. Конвэй отвечал с приличествующими выражениями вежливости и сообщил, как его поразила полнота представленных в монастыре сочинений европейских композиторов. Медленно потягивая чай, Верховный Лама с признательностью принял этот комплимент.

— Ах, мой дорогой Конвэй, нам повезло в том смысле, что среди нас оказался одаренный музыкант. Он был учеником самого Шопена. И мы полностью передали в его руки управление нашим салоном. Вы обязательно должны встретиться с ним.

— Буду рад. Чанг, кстати, говорил мне, что ваш любимый западный композитор — Моцарт.

— Да, верно, — последовал ответ. — У Моцарта есть строгая элегантность, в высшей степени соответствующая нашим вкусам. Он строит дом не

слишком большой и не слишком маленький. И обставляет его с изыском, равным совершенству.

Так они перекидывались приятными словами, пока чашки не унесли. К тому времени Конвэй способен был уже вполне спокойно заметить:

— Итак, возвращаясь к нашему разговору. Вы намерены удержать нас здесь? В этом, как я понимаю, и заключается важное и неременное условие?

— Вы правильно догадались, сын мой.

— Иными словами, мы должны остаться здесь навсегда?

— Я бы предпочел выразиться мягче — на долгую счастливую жизнь.

— Не могу не удивляться тому, что выбор пал именно на нас четверых — из всех жителей планеты.

Отвечая, Верховный Лама постарался вернуть разговор в прежнее русло степенной обстоятельности.

— Это весьма сложная история. Послушайте, раз уж хотите. Надобно знать, что мы всегда стремились по возможности пополнять наши ряды за счет новопришельцев. Помимо всего прочего, приятно жить среди людей разного возраста, общаться с представителями разных эпох. К сожалению, после недавней войны в Европе и русской революции путешествия и исследования в Тибете почти полностью прекратились. В общем, последний наш гость, японец, попал сюда в 1912 году и, откровенно говоря, оказался не самым ценным приобретением. Видите ли, мой дорогой Конвэй, мы не знахари, не шарлатаны. Мы не гарантируем и не можем гарантировать успеха. На одних

наших гостей пребывание здесь не оказывает никакого благотворного действия. Другие просто достигают весьма преклонного возраста и умирают от какого-нибудь пустякового заболевания. В целом мы установили, что тибетцы, поскольку высота и другие здешние условия им привычны, оказываются менее восприимчивыми, чем пришельцы извне. Тибетцы — очаровательные люди, и многих мы приняли в монастырь, но, боюсь, мало кто из них перевалит через столетний рубеж. Китайцы чуть лучше, но и среди них у нас высокий процент неудач. Наилучшими в этом смысле оказались, несомненно, выходцы из Европы, представители как нордической, так и романской расы. Возможно, так же хорошо пойдет дело с американцами, и я почитаю за великую удачу, что наконец-то в лице одного из ваших спутников мы заполучили гражданина США. Но продолжаю отвечать на ваш вопрос. Положение, как я сказал, было таково, что в течение почти двух десятилетий нам не представлялось случая приветствовать новопришельцев. А поскольку за это время мы пережили несколько смертей, стала возникать проблема. Некоторое время назад, однако, один из нас предложил решение. С новаторской идеей выступил молодой человек, уроженец долины, юноша, заслуживавший всяческого доверия и полностью разделявший наши цели. Как и всем жителям долины, природа не давала ему счастливого шанса, какой предоставляется здесь людям, приходящим издалека. Он-то и предложил, что, мол, покинет нас, доберется до одной из близлежащих стран и доставит нам новых коллег способом, в прежние времена немыслимым. Во многих отношениях это было нечто революционно новое. Однако после долгого размышления мы согласились. Ибо

надо, знаете ли, идти в ногу со временем, даже в Шангри-ла.

— Вы хотите сказать, что сознательно его послали с заданием доставить кого-нибудь самолетом?

— Видите ли, он был очень одаренный и находчивый юноша, которому мы очень верили. Идея принадлежала ему, и мы разрешили действовать, как он считал нужным. Единственное, что мы знали: ему необходимо пройти обучение в американской летной школе.

— Но как он справился с остальным? Ведь только по случайности в Баскуле оказался тот аэроплан...

— Воистину так, мой дорогой Конвэй. Многое происходит по чистой случайности. Но то была случайность, за которой Талу охотился. Если бы она не подвернулась тогда, что-нибудь подобное повторилось бы через год-другой. Ну, и конечно же, никаких благоприятных обстоятельств могло и вовсе не представиться. Признаться, я был поражен, когда наши часовые сообщили о его приземлении на плато. Прогресс в авиации идет быстро, но мне казалось, потребуется еще много времени, прежде чем станет возможным на обычной машине пересечь эти горы.

— Это была не обычная машина. Этот самолет специально готовился для полетов на больших высотах в горах.

— Опять случайность? Наш юный друг поистине был удачлив. Жаль, что мы не можем обсудить это с ним. Мы все опечалены его смертью. Вам бы он понравился, Конвэй.

Конвэй слегка наклонил голову. Он полагал, что это вполне возможно. Помолчав, он сказал:

— Но каков смысл? Какая общая идея движет всем этим?

— Сын мой, то, как вы ставите этот вопрос, доставляет мне беспредельное удовольствие. За всю мою довольно-таки продолжительную жизнь никогда меня не спрашивали об этом столь спокойным голосом. Узнавая от меня правду, люди откликались на нее почти всеми мыслимыми способами — гневом, печалью, яростью, неверием, истерикой. Но никогда, вплоть до сегодняшнего вечера, просто выражением любознательности. Однако именно такое отношение к делу я сердечно приветствую. Сегодня вы проявляете любознательность. Завтра вы почувствуете беспокойство. А в будущем, может статься, у меня появятся основания рассчитывать на вашу преданность.

— Это больше, чем я согласился бы пообещать.

— Само ваше сомнение доставляет мне удовольствие. Это основа глубокой и серьезной веры... Но давайте не будем вступать в спор. Вы заинтересовались, и это уже много. Единственная моя просьба — пока не посвящать ваших троих спутников в то, что я вам поведал.

Конвэй молчал.

— Придет время, они тоже узнают все. Но ради них самих лучше с этим не торопиться. Я настолько уверен в вашей мудрости, что не прошу от вас обещаний. Я знаю, вы будете действовать так, как вы и я считаем наиболее правильным. А теперь я, с вашего позволения, начну обрисовывать приятную сторону вашего пребывания

здесь. Вы, я бы сказал, в настоящее время весьма молоды по принятым в мире меркам. У вас, как говорится, вся жизнь впереди. Если ничего не случится, вы можете рассчитывать на двадцать-тридцать лет, в течение которых ваша жизнеспособность будет уменьшаться постепенно и едва заметно. Отнюдь не безрадостная перспектива, и вряд ли вы готовы смотреть на нее моими глазами, то есть воспринимать как мимолетную интерлюдия, очень короткую и к тому же полную горячечного смятения. Первая четверть века вашей жизни, несомненно, омрачена представлениями, что вы пока слишком молоды для осуществления неких достойных замыслов, а над заключительной четвертью обычно опускается еще более темное облако — сознание, что вы для этого уже слишком стары. И вот между этими двумя тучами едва успевает появиться узкая полоска солнечного света, способного озарить жизнь человека! Но вас, возможно, ждет большая удача, поскольку по меркам Шангри-ла ваши солнечные годы только-только начинаются. Возможно, что и через десятилетия вы не почувствуете себя старше, чем сегодня, и сохраните, как Хеншель, долгую восхитительную юность. Но это, поверьте, лишь ранняя и поверхностная фаза. Наступит время, когда вы состаритесь, как и все. Но происходить это будет гораздо медленнее обычного, и в старости вас ждет состояние, более достойное, чем то, что наблюдается у людей очень преклонного возраста. Когда вам исполнится восемьдесят, вы все еще сможете взбираться на перевал с прытью молодого человека. Однако не стоит рассчитывать, что и с удвоением этого возраста все то же чудо продолжится в полной мере. Чудес мы не творим. Победы над смертью мы не одержали. Не сладили даже со старением. Все, что нам

удавалось и иногда по-прежнему удастся, — это растянуть интерлюдия, именуемую жизнью. Мы добиваемся этого способами, которые настолько же просто использовать здесь, насколько это невозможно в других местах. Но не допустите ошибку: конец ждет нас всех.

Тем не менее картина будущего, которую я развертываю перед вами, полна многих очарований. Вас ждут долгие спокойные дни, когда вы будете наблюдать закат солнца так же, как во внешнем мире люди слушают бой часов, и с гораздо большим безразличием. Годы будут приходить и уходить, и вы будете постепенно расставаться с телесными наслаждениями и переноситься в иные, более суровые сферы, где, однако, сможете познать не меньше радости. Возможно, ваши мышцы ослабеют, понизится аппетит, но эти потери будут уравновешены. Вы обретете покой души, глубину мысли, зрелость и мудрость. Вам откроется очарование ясной памяти. И самое ценное: в вашем распоряжении будет время — этот редчайший и прекрасный дар, который ваши западные страны утрачивали тем больше, чем сильнее за ним гнались. Задумайтесь на минутку. У вас появится время читать. Вам больше не придется наскоро пробегать или пропускать страницы в попытке выкроить лишней часок. Вы не должны будете отказываться от изучения какой-нибудь темы только потому, что на это потребовалось бы чересчур много времени. Вы любите музыку — и здесь в вашем распоряжении ноты и инструменты вместе с временем, непрерываемым и неизмеримым. Все, чтобы получать богатейшее наслаждение. Вы, скажем так, человек, склонный к доброму дружескому общению, и разве вас не прельщает мысль о том, чтобы оказаться в окружении мудрых

искренних друзей? Чтобы включиться в пронизанное взаимной благосклонностью сотрудничество умов, в постоянный обмен идеями и соображениями, от которого и смерть с ее обычной поспешностью не может вас оторвать? Или, если вы предпочитаете уединение, разве вы не можете использовать наши беседки для обогащения своих тайных дум?

Голос старца умолк, и Конвэй не стал нарушать наступившую тишину.

— Вы ничего не говорите, мой дорогой Конвэй. Извините мне мою многоречивость — люди моего века и моего народа никогда не считали зазорным раскрывать свою душу... Но возможно, вы вспоминаете о жене, родителях, детях, оставшихся там, в далеком мире? Или о неосуществленных намерениях. Поверьте мне, хотя поначалу это причиняет острую боль, через десяток лет даже призрак ее не будет вас преследовать. Впрочем, вас, если я правильно читаю ваши мысли, никакие такие вещи не тревожат.

Конвэя поразило, насколько точно Верховный Лама оценил его состояние.

— Да, вы правы, — ответил он. — Я не женат. У меня мало близких друзей и нет никаких честолюбивых замыслов.

— Никаких честолюбивых замыслов? И как же вам удалось избежать этого столь распространенного недуга?

Впервые Конвэй почувствовал, что он по-настоящему принимает участие в беседе. Он сказал:

— Мне всегда казалось, будто многое из считающегося успехом на деле было достаточно неприятным. Не говоря уж, что для достижения этого

успеха пришлось бы вкладывать в работу больше сил, чем я способен был потратить. Я работал на консульской службе — занимал невысокий пост, но мне это вполне годилось.

— Но душу вы не вкладывали?

— Ни душу, ни сердце, ни большую половину имевшихся у меня сил. Я по природе довольно ленив.

Морщинки на лице собеседника углублялись и изгибались, и Конвэй наконец понял, что Верховный Лама улыбается. Шепот возобновился:

— Лень в совершении глупостей — великая добродетель. В любом случае вы едва ли сочтете нас требовательными по этой части. Чанг, я полагаю, объяснил вам наш принцип умеренности. И одна из вещей, относительно которой мы всегда умеренны, — это деятельность. Я сам, например, сумел выучить десять языков. Мог бы и двадцать, если бы работал неумеренно. Но я так не поступал. То же самое в других направлениях. Вы обнаружите, что мы не впадаем ни в расточительность, ни в аскетизм. Пока не приходит возраст, в котором настает пора проявлять заботу о своем здоровье, мы с благодарностью принимаем радости застолья. А наши женщины удачно применяют принцип умеренности в отношении соблюдения своей непорочности. С учетом всего и вся я прихожу к убеждению, что вы привыкнете к нашему образу жизни без особых усилий. Чанг, надо сказать, настроен очень оптимистично, а после этой встречи и я тоже. Но должен признать, у вас есть некое странное качество, которого я никогда не замечал у прежних наших гостей. Это не совсем цинизм, еще в меньшей мере саркастичность. Может, отчасти это разочарованность, но также и

ясность ума, которой я не ждал бы от человека сколько-нибудь моложе, скажем, ста лет. Если бы надо было выразить это одним словом, я бы назвал это бесстрастностью.

Конвэй отвечал:

— Слово не хуже других, несомненно. Я не знаю, классифицируете ли вы попадающих сюда людей, но если да, то ко мне можете прицепить ярлычок «1914–1918». Это, по-видимому, делает меня уникальным экземпляром в вашем музее. И хотя я не придаю этому огромного значения, но главное, чего я с тех пор просил у мира, — это оставить меня в покое. Здесь я нахожу определенное очарование и покой, которые меня привлекают, и, как вы заметили, я, несомненно, могу свыкнуться с этим местом.

— Это все, сын мой?

— Надеюсь, я хорошо придерживаюсь вашего собственного принципа умеренности.

— Вы умны. И Чанг говорил мне об этом. Но разве в обрисованной мною перспективе нет ничего такого, что вызывало бы у вас более сильные чувства?

Конвэй некоторое время молчал, а потом ответил:

— На меня произвел глубокое впечатление ваш рассказ о прошлом. Но сказать правду, ваша картина будущего занимает меня лишь в отвлеченном смысле. Я не могу заглядывать вперед так далеко. Мне наверняка было бы жаль расстаться с Шангри-ла, если бы мне пришлось сделать это завтра, или на следующей неделе, или даже через год, но как я к этому буду относиться, прожив сто лет, предсказать невозможно. Я могу смотреть на это, как смотрят на любое будущее. Но

чтобы как-то судить о такой перспективе, надо понять, в чем тут смысл. Я иногда сомневаюсь, есть ли он в жизни вообще, и если нет, то тем более его не может быть в долгой жизни.

— Мой друг, традиции этого здания, как буддистские, так и христианские, предоставляют много свидетельств в пользу смысла...

— Кто знает? Но боюсь, мне все-таки требуется некий более определенный довод, чтобы проникнуться завистью к столетнему старцу.

— Есть такой довод, и очень определенный. Он-то и заставляет объединившихся в этом поселении избранников случая жить дольше отпущенного им срока. Мы вовсе не ставим пустой эксперимент. Мы не следуем всего-навсего прихоти. У нас есть мечта и цель. Она впервые озарила душу старого Перро, когда он лежал, умирающий, в этой комнате в 1789 году. Тогда, я вам рассказывал, он оглянулся на свою долгую прошлую жизнь. И ему открылось, что все милейшие вещи преходящи и подвержены гибели и война, жадность и жестокость могут когда-нибудь уничтожить их без остатка. Он вспоминал картины, некогда виденные глазами, а душа его видела другое. Она видела, как нации укрепляются не в мудрости, а в низменных страстях, растет их стремление к разрушению. Она видела, как умножается их техническое могущество — настолько, что один вооруженный человек способен будет сравняться с целой армией Великого Монарха. И, проницая будущее, она видела, что, осквернив землю и море, они примутся за воздух... Вы скажете, это видение не оправдалось?

— Воистину оправдалось.

— Но это не все. Перро предвидел время, когда люди, упиваясь техникой человекоубийства, разведут в мире такую горячую свару, что все драгоценное окажется в опасности, каждая книга и каждая картина, и все гармоничное, и каждое сокровище, оберегаемое в течение двух тысячелетий, маленькое, нежное и беззащитное, — все будет утрачено, как книги Ливия, как разгромленный англичанами Летний дворец в Пекине.

— Здесь я с вами согласен.

— Разумеется. Но что означают мнения разумных людей против железа и стали? Поверьте мне, видение старого Перро осуществится. И вот почему я здесь, сын мой, и почему вы здесь, и почему нам надо молиться, чтобы пережить судный день. А признаки, что он грядет, надвигаются со всех сторон.

— Пережить это?

— Есть шанс. Все это отойдет в прошлое, прежде чем вы достигнете моего нынешнего возраста.

— И вы полагаете, Шангри-ла избежит общей участи?

— Вероятно. Мы не рассчитываем на пощаду, но слегка уповаем на пренебрежение. Мы останемся здесь с нашими книгами, музыкой и созерцательными раздумьями. Мы будем хранителями хрупких прелестей умирающего века, будем и дальше набираться мудрости, которая понадобится людям потом, когда их страсти иссякнут. У нас наследство, которое нам надлежит лелеять и завещать потомкам. И в ожидании мы станем предаваться доступным нам радостям...

— А потом?

— Потом, сын мой, когда сильные пожрут друг друга, христианская мораль, возможно, наконец-то восторжествует, и кроткие унаследуют землю.

Шепот окрасился вдохновением твердой веры, и Конвэй поддался ее обаянию. Он снова обратил внимание на окружающий их мрак, но теперь — это казалось символичным — тьма надвигалась как бы извне, будто где-то там, в большом мире, собиралась буря. И тут он увидел, что Верховный Лама Шангри-ла зашевелился, встал со стула, выпрямился и застыл, являя собой подобие призрака, который частично обрел плоть.

Из чистой вежливости Конвэй двинулся, чтобы его поддержать, но неожиданно глубокий порыв охватил его, и он сделал то, чего не делал никогда прежде, ни перед кем и ни для кого. Сам не ведая почему, он опустился на колени.

— Я понимаю вас, отче, — сказал он.

Он почти не помнил, как вышел из комнаты. Из охватившего его полусна он очнулся лишь много времени спустя. Ледяной ночной воздух обжигал его после жары в этих верхних комнатах. Чанг сопровождал его в молчаливой торжественности через дворики под звездами. Никогда еще Шангри-ла не казалась ему столь красивой. Под скалой лежала долина, которую сейчас нельзя было видеть, а можно только воображать. И в воображении она казалась водной гладью на поверхности пруда, что так соответствовало умиротворению в мыслях Конвэя. Ибо он перешагнул через удивление. Долгая беседа опустошила его. Осталось только удовлетворение ума и чувств и покой в душе. Даже сомнения больше не терзали его, а просто вошли в общую, тонко отлаженную гармонию его

состояния. Чанг не проронил ни слова. Молчал и Конвэй. Было очень поздно, и он с облегчением отметил, что все уже пошли спать.

Глава девятая

Утром он пытался сообразить, наяву или во сне произошли вчерашние события.

Вскоре ему помогли осознать, что к чему. Едва он появился за завтраком, как посыпался град вопросов.

— Ну, ничего не скажешь, затянулся у вас разговор с хозяином, — начат Барнард. — Мы хотели вас дождаться, но не выдержали. Что собой представляет этот малый?

— Говорил он о носильщиках? — приставал Мэлинсон.

— Надеюсь, вы сказали ему насчет учреждения здесь христианской миссии? — допытывалась мисс Бринклоу.

Бомбардировка вопросами привела к тому, что Конвэй замкнулся и перешел в наступление.

— Боюсь, я сейчас разочарую вас всех, — отвечал он, легко впадая в нужное настроение. — Я не обсуждал с ним вопросов миссионерской деятельности. Он ни словом не обмолвился о носильщиках. А о его внешности могу сказать только то, что это очень старый человек, который свободно говорит по-английски и очень интеллигентный.

Мэлинсон раздраженно вставил:

— Главное для нас в том, можно ли ему доверять. Допускаете ли вы, что он собирается нас надуть?

— Он не оставил у меня впечатления бесчестного человека.

— А почему это вы не потревожили его насчет носильщиков?

— В голову не пришло.

Мэлинсон уставился на него ошеломленно:

— Я вас не в силах понять, Конвэй. Вы так здорово вели себя в этой заварухе в Баскуле, будто там был совсем другой человек. От вас словно ничего не осталось.

— Сожалею.

— Чего там сожалеть! Вам надо собраться и делом показать, что вас заботит происходящее.

— Ты неправильно меня понял. Я хотел сказать, сожалею, что разочаровал тебя.

Голос Конвэя был сух и скрывал его чувства, которые в действительности находились в таком смятении, о каком едва ли кто мог догадаться. Внутренне он немного удивлялся, как легко ему удастся увиливать от прямого разговора. Ясно было, что он собирается последовать предложению Верховного Ламы и сохранить тайну. Он поразился и тому, как естественно он принимает для себя позицию, которую спутники наверняка и не без оснований сочли бы предательской. Говоря словами Мэлинсона, такого едва ли можно было ждать от героя. Конвэй вдруг почувствовал прилив нежности к юноше, смешанный с жалостью. Потом он велел себе оставить сентиментальность, решив, что люди, склонные почитать героев, должны быть готовы к разочарованиям. В Баскуле молоденький Мэлинсон обожал красивого распорядителя. А теперь этот распорядитель закачался на своем пьедестале, а то и вовсе с него свалился. Всегда есть нечто возбуждающее

в падении идола, пусть и фальшивого. А преклонение со стороны Мэлинсона служило своего рода наградой за перенапряжение, которому подвергал себя Конвэй, стараясь казаться тем, чем в действительности не был. Но так или иначе, больше было невозможно притворяться, будто сам воздух Шангри-ла, может, из-за высоты, запрещал это.

Конвэй сказал:

— Послушай, Мэлинсон, нет смысла снова и снова поминать Баскул. Конечно, тогда я был другим. Обстановка была совсем другая.

— Куда более здоровая, на мой взгляд. По крайней мере мы знали, с чем имеем дело.

— С убийствами и насилием, если называть вещи своими именами. Коли нравится, можешь считать это более здоровой обстановкой.

Юноша перешел на крик:

— Да, я действительно считаю ее более здоровой — в определенном смысле! Пусть уж такое, лишь бы не здешняя таинственность! — Неожиданно он добавил: — Эта девушка-китаянка, например. Как она сюда попала? Сказал он вам?

— Нет. Почему он должен был это объяснять?

— Ну а почему бы и нет? И почему бы вам не спросить, коль скоро вы вообще интересуетесь здешними делами? Разве нет ничего необычного в том, что юная девушка живет среди толпы монахов?

Вопрос, поставленный таким образом, прежде не приходил Конвэю в голову.

— Это не совсем обычный монастырь, — был лучший ответ, какой он смог найти после некоторых раздумий.

— Боже правый, воистину необычный!

Спор явно зашел в тупик, и между ними повисло молчание. Конвэю история Ло-Тсен казалась делом несущественным. Маленькая маньчжурка занимала так мало места в его мыслях, что он почти не помнил о ее существовании. Но мисс Бринклоу, услышав о ней, сразу оторвалась от тибетской грамматики, которую она изучала даже за завтраком (словно, с тайным злорадством подумал Конвэй, у нее для этого не было целой жизни). Разговор о девушках и монахах напомнил ей рассказы миссионеров своим женам про индийские храмы, которые эти жены передавали потом своим незамужним коллегам.

— Конечно, — сказала она, едва разжимая губы, — нравственность здесь находится на ужасающем уровне, и нам следовало этого ожидать. — Она обернулась к Барнарду как бы за поддержкой, но американец только ухмыльнулся.

— Не думаю, чтобы вас, друзья, могло занимать мое мнение, когда речь идет о морали, — сухо заметил он. — Но со своей стороны хочу сказать, что сплошные препирательства — это тоже из области дурных нравов. И раз уж нам выпало провести здесь некоторое время, давайте держать себя в руках, и пусть жизнь будет нам в удовольствие.

Конвэй подумал, как это хорошо и кстати сказано, но Мэлинсон не угомонился.

— Вполне допускаю, что здесь вам уготовано больше удовольствий, чем в Дартмуре, — многозначительно сказал он.

— В Дартмуре? А, это ваша большая тюрьма, понял. Ну разумеется, я никогда не завидовал обитателям подобных мест. И еще вот что. Меня не трогают ваши укусы по этому поводу. Толстая кожа и нежное сердце — так я устроен.

Конвэй посмотрел на него с одобрением и бросил на Мэлинсона взгляд, в котором можно было уловить упрек. Но вдруг у него появилось ощущение, словно все они играют роль на огромной сцене, а о происходящем за кулисами знает он один. Из-за этого ему сразу захотелось остаться в одиночестве. Он поклонился всем и вышел во внутренний двор. Вид Каракала приглушил все неприятные переживания, и беспокойство, причиняемое его тремя спутниками, растворилось и исчезло в том новом мире, принимаемом им безоговорочно, о существовании которого они и не догадывались. Он понял, что пришло время, когда общая необычность происходящего стала все больше мешать осознанию уникальности каждого отдельного события. Время, когда вещи надо принимать такими, какие они есть, просто потому, что всякое новое чудо нагоняет уже скуку и на тебя, и на других. Вот до какого состояния добрался он в Шангри-ла и вспомнил, что к подобному, хотя и менее приятному душевному равновесию пришел когда-то во время войны.

Спокойствие души было ему необходимо хотя бы для того, чтобы приспособиться к двойной жизни, которую он вынужденно должен был вести. С товарищами по изгнанию ему предстояло отныне

находиться в мире, где ждут носильщиков и готовятся к возвращению в Индию. В ином, собственном его измерении занавес над горизонтом поднимался. Время раздвигалось, а пространство сжималось. И название «Голубая Луна» наполнялось символическим смыслом, будто подсказывало, что будущее, маловероятное будущее, может когда-нибудь произойти только на Голубой Луне. Порой он дивился, раздумывая, какая из двух его жизней имеет большее отношение к действительности. Но спешить с решением этого вопроса не было нужды. И опять он вспоминал войну, когда при сильных бомбежках к нему приходило то же самое успокоительное ощущение, будто у него много жизней и смерть может посягнуть лишь на одну из них.

Чанг, разумеется, разговаривал теперь с ним совершенно открыто, и они много беседовали о правилах монастыря. Конвэй узнал, что в течение первых пяти лет ему предстояло вести обычный образ жизни без какого-либо особого режима. Так делается всегда, сказал Чанг, «чтобы дать телу возможность привыкнуть к высоте, а человеку время преодолеть сожаления — в уме и душе».

Конвэй с улыбкой заметил:

— Значит, вы, как я понимаю, твердо уверены, будто никакое человеческое чувство не может пережить пятилетней разлуки?

— Несомненно, может, — отвечал Чанг, — но только в виде легкого волнения, отмеченного той грустью, которая способна доставить наслаждение.

По истечении пяти испытательных лет, объяснял далее Чанг, начнется процесс замедления в возрасте, и если он пойдет успешно, то Конвэй проживет около

полувека сорокалетним по всем признакам мужчиной, а ведь совсем не плохо остановиться на этом рубеже.

— А у вас лично? — спросил Конвэй. — Как все это проходило в вашем случае?

— Ах, мой дорогой сэръ, мне повезло появиться здесь совсем молодым — двадцатидвухлетним. Я был солдатом, что, возможно, расходится с вашими представлениями обо мне. Я командовал отрядом, который преследовал разбойничьи племена в 1855 году. Я занимался тем, что называл бы разведкой, случись мне потом докладывать об этом начальству. Но на самом деле я просто потерялся в горах, и из моих людей, а их было больше сотни, в живых остались лишь семеро. Только они вынесли суровый климат. Когда в конце концов меня нашли и доставили в Шангри-ла, я был тяжело болен, и только молодость и крепость организма помогли мне выжить.

— Двадцать два, — повторил Конвэй, произведя вычисления. — Значит, сейчас вам девяносто семь.

— Да. Очень скоро, если ламы дадут согласие, я стану полностью посвященным.

— Понятно. Вы должны дождаться круглой даты?

— Нет, ограничений, связанных с какими-либо возрастными рубежами, у нас нет, но когда тебе исполняется сто лет, все страсти и наклонности, свойственные обычной жизни, уже исчезают.

— Готов с этим согласиться. А что же потом? Сколько, вы предполагаете, продлится ваша жизнь?

— Есть основания надеяться, что я войду в круг посвященных лам, имея перед собой такое будущее,

какое Шангри-ла делает возможным. Если измерять годами, то, может быть, еще век, а то и больше.

Конвэй кивнул:

— Не знаю, должен ли я вас поздравить. Судя по всему, вам досталось лучшее на обоих полюсах. Долгая и приятная молодость позади, и столь же долгая и приятная жизнь в преклонном возрасте впереди. А когда вы начали стареть внешне?

— После семидесяти. Это часто случается, хотя, полагаю, я выгляжу моложе своих лет.

— Определенно. А допустим, вам пришлось бы сейчас покинуть долину, что бы произошло?

— Смерть — стоит только мне отлучиться на несколько дней.

— Значит, все решает здешний воздух?

— Существует только одна долина Голубой Луны, и те, кто надеется найти другую, требуют от природы слишком многого.

— Хорошо, а что произошло бы, если бы вы покинули долину, скажем, тридцать лет назад, еще во времена своей продлившейся молодости?

Чанг отвечал:

— Наверное, я умер бы и тогда. Во всяком случае, я быстро обрел бы внешность, соответствовавшую моему истинному возрасту. Могу привести любопытный пример, случившийся несколько лет назад, хотя такое не раз бывало и прежде. Один из нас покинул долину, отправился на поиски приближавшихся, как мы слышали, путешественников. Этот человек, русский, некогда попал сюда в расцвете лет и настолько хорошо освоился с

нашими приемами, что в свои почти восемьдесят смотрелся не более чем на сорок. Предполагалось, он будет отсутствовать неделю, не дольше, и это обошлось бы без последствий. Но к несчастью, его захватило племя кочевников, и они увели его с собой довольно далеко. Мы посчитали, что случилась беда и он уже не вернется. Однако спустя три месяца он бежал от кочевников и возвратился. Но это уже был совсем другой человек. На его лице, в его поведении отложился каждый год прожитой им жизни, и вскоре он умер, как обычно умирают старики.

Некоторое время Конвэй молчал. Они вели беседу в библиотеке, и, слушая Чанга, Конвэй большей частью смотрел в окно на перевал, который вел во внешний мир. Облачко окутывало его легкой дымкой.

— Довольно мрачная история, а, Чанг? — отозвался наконец Конвэй. — Она создает такое ощущение, будто время, подобно некоему чудовищу, стоит на страже у выхода из долины, всегда готовое накинуться на охламонов, сумевших уклоняться от его власти дольше, чем положено.

— Охламонов? — переспросил Чанг. Он исключительно хорошо знал английский язык, но некоторые вольности разговорной речи не были ему знакомы.

— Охламон, — объяснил Конвэй, — это жаргонное слово. Означает «лентяй, бездельник, ни на что не годный человек». Но я, конечно, употребил его не всерьез.

Чанг кивнул в знак признательности за разъяснение. Он с большим интересом относился к изучению языков и

любил поразмышлять над каждым новым для него словом.

— Показательно, — сказал он, помолчав, — что англичане видят в безделье некий порок. Мы, напротив, отдаем ему предпочтение перед напряжением. Не слишком ли много тратится сил в современном мире и не лучше ли, если бы больше людей стало охламонами?

— Склонен с вами согласиться, — ответил Конвэй с видом человека, сделавшего для себя серьезное открытие.

За неделю, прошедшую после его беседы с Верховным Ламой, Конвэй познакомился с несколькими своими будущими коллегами. Чанг и не стремился устраивать ему эти знакомства, и не противился им, так что Конвэй ощутил себя в новой и довольно привлекательной атмосфере, которая не допускала ни выполнения неотложных дел, ни разочарований по поводу переноса намеченных сроков.

— Вообще-то, — пояснил Чанг, — некоторые ламы, возможно, не встретятся с вами в течение долгого времени. Не исключено, что до этого пройдут годы. Но не следует удивляться. Они готовы познакомиться с вами, как только к тому представится случай. А если не спешат, так это ни в коей мере не означает, что не хотят.

Конвэй, у которого часто возникали подобные чувства, когда дело касалось знакомства с новыми служащими в заграничных консульствах, подумал, что ламы ведут себя очень разумно.

Все же состоявшиеся встречи прошли очень успешно. И беседы с людьми втрое старше его не

породили никаких светских неловкостей, что вполне могло бы случиться в Лондоне или Дели.

Первым среди его новых знакомых оказался добродушный немец Майстер, который попал в монастырь в восьмидесятые годы прошлого столетия. Он был в составе исследовательской экспедиции и уцелел, когда остальные ее участники погибли. По-английски он говорил хорошо, хотя и с акцентом. Через пару дней состоялось еще одно знакомство, и Конвэй получил удовольствие от первой беседы с человеком, которого упоминал Верховный Лама, — сухоньким, щуплым французом Альфонсом Бриаком. Выглядел он не слишком старым, хотя и объявил себя учеником Шопена. Конвэй решил, что они оба, француз и немец, могли бы составить приятную компанию.

Подсознательно он уже анализировал свои впечатления и после еще нескольких встреч сделал для себя некоторые общие выводы. Он заметил, что, хотя у лам, с которыми он знакомился, были свои индивидуальные черты, все же их объединяло некоторое общее свойство. И для его обозначения он подобрал пусть и корявое, но единственное, какое мог, слово — вневозрастность. Более того, все они казались наделенными спокойным умом, который выливался во взвешенные, размеренные суждения. Конвэй проявил способность поддерживать беседу в том же ключе и заметил: они поняли это и остались довольны. Он обнаружил, что общаться с ними так же легко, как и с любой другой группой культурных людей, какая могла встретиться ему в жизни, хотя иногда возникало странное чувство из-за того, что приходилось выслушивать воспоминания об очень уж далеком прошлом и о совсем, как казалось, незначительных

событиях. Например, один седовласый, благожелательного вида лама, едва у них завязался разговор, спросил Конвэя, слышал ли он о семействе Бронте.^[26] Конвэй кивнул утвердительно, на что тот поведаль:

— Видите ли, когда я в сороковые годы был викарием в Ридинге, мне случилось как-то навестить Хоурт. Там я останавливался в доме приходского священника. За время, которое я нахожусь здесь, я изучил проблемы Бронте. Вплоть до того, что пишу об этом книгу. Может быть, вас посетит желание проглядеть ее как-нибудь вместе со мною?

Конвэй ответил сердечным согласием, а позднее, когда он и Чанг остались наедине, заговорил о том, сколь живо ламы вспоминают свою дотибетскую жизнь. Чанг ответил, что это образует составную часть здешней тренировки.

— Видите ли, мой дорогой сэръ, один из первых шагов на пути к очищению души — необходимость охватить взором свое прошлое. И оно, как всякий предмет наблюдения, лучше всего видится в перспективе. Когда пробудете среди нас достаточно долго, вы обнаружите, что ваша прежняя жизнь начнет представляться более четко — будто на нее навели линзу телескопа. Все увидится ясно, предстанет в должной соразмерности и в своем подлинном значении. Ваш новый знакомый, например, осознаёт сегодня, что по-настоящему большим событием всей его жизни было

²⁶ Семейство Бронте — имеются в виду три сестры-писательницы и их отец-пастор, жившие в деревне Хоурт.

то, когда он молодым человеком посетил дом, где жил старик со своими тремя дочерьми.

— Так, значит, мне, видимо, надо сейчас же приступить к воспоминаниям о больших событиях моей жизни?

— Это не потребует особых усилий. Все явится само собой.

— Едва ли мне это доставит большую радость, — задумчиво сказал Конвэй.

Но что бы там ни явилось из прошлого, а настоящее уже приносило ему удовольствие. В библиотеке, погружаясь в чтение, в музыкальном салоне, играя Моцарта, он часто ощущал духовный подъем, будто Шангри-ла и впрямь заключала в себе самую суть жизни, добытую магией веков и чудесным образом защищаемую от времени, от смерти. В такие минуты в памяти его оживала беседа с Верховным Ламой. Он чувствовал, как спокойный разум нежно направлял каждое движение его души и предлагал тысячи отрадных моментов для его глаз и ушей. Он слушал, например, как Ло-Тсен выводит замысловатый ритм какой-нибудь фуги, и дивился, что же пряталось за ее легкой отрешенной улыбкой, придававшей ее губам подобие распустившегося цветка. Говорила она очень мало — даже теперь, когда узнала, что Конвэй владеет ее языком. С Мэлинсоном, заглядывавшим иногда в музыкальный салон, она была почти нема. Но Конвэй отмечал очарование, присущее ее молчанию.

Как-то он попросил Чанга рассказать ее историю и услышал, что она происходит из семьи, кровно связанной с маньчжурским царственным домом.

— Она была помолвлена с одним из принцев Туркестана и направлялась в Кашгар, где должна была с ним встретиться. Ее носильщики сбились с пути в горах. Все бы они, конечно, погибли, если бы не наш обычай высылать спасателей.

— Когда это произошло?

— В 1884 году. Ей было восемнадцать. — Чанг склонил голову. — Да, с ней у нас дело пошло чрезвычайно успешно, как вы и сами можете судить. Прогресс у нее был постоянный.

— Как она поначалу восприняла случившееся?

— Вероятно, степень неприятия у нее оказалась несколько выше средней. Она никак это не выражала, но мы чувствовали ее беспокойство. Некоторое время. И понятно, дело-то необычное, когда девушку перехватывают по дороге на свадьбу. В ее случае все мы особенно старались. Надеялись, она обретет здесь счастье. — Чанг мягко улыбнулся. — Боюсь, любовное возбуждение не располагает к тому, чтобы легко сдаться. Но пяти лет оказалось вполне достаточно, и это прошло.

— Видимо, она была глубоко привязана к своему жениху?

— Едва ли, мой дорогой сэр. Ведь она никогда его не видела согласно старому обычаю. Сердце ее волновалось безотносительно к определенной личности.

Конвэй кивнул и с некоторой нежностью подумал о Ло-Тсен. Он представил себе, как она могла выглядеть

полвека назад. Грациозная фигурка в паланкине, передвигающаяся через плато на плечах носильщиков. Ее глаза вглядываются в обветренные горизонты, и то, что она видит, кажется ей очень суровым после садов и покрытых лотосом прудов Востока.

— Бедное дитя! — сказал он, подумав, какая прелесть оказалась обреченной на годы заточения. Знакомство с ее прошлым не уменьшило, а скорее прибавило удовольствия, которое он испытывал от ее спокойствия и молчания. Она была подобна прекрасной холодной вазе, ничем не украшенной, разве только бликами неуловимого света.

Он получал удовольствие также, когда Бриак рассказывал ему о Шопене или блестяще играл знакомые мелодии. Судя по всему, француз знал несколько сочинений Шопена, которые никогда не публиковались. Бриак записал их, и Конвэй потратил много приятных часов, их разучивая. Он находил определенную пикантность в размышлении о том, что ни Корто, ни Пахману^[27] не досталась такая удача. Воспоминаниям Бриака не было конца. В его памяти постоянно оживал то один, то другой маленький отрывок мелодии, который композитор обронил или сымпровизировал по какому-нибудь поводу. Он немедленно клал их на бумагу, едва они всплывали у него в голове, и отдельные вещи среди них были восхитительны.

— Бриак, — объяснял Чанг, — лишь недавно посвящен в ламы. Поэтому вы должны быть

²⁷ Корто, Альфред Дени (1877–1962) — выдающийся французский пианист, славившийся, в частности, исполнением произведений Шопена и Шумана. Пахман, Владимир (1848–1933) — пианист, уроженец Одессы; в его репертуаре произведения Шопена занимали видное место.

снисходительны к тому, что он много говорит о Шопене. Те, кто стал ламой недавно, естественно, еще заняты прошлым. Через это надо пройти, прежде чем откроется будущее.

— И это, как я понимаю, становится основным делом старших лам?

— Да, Верховный Лама, например, проводит почти все свое время в провидческих созерцаниях.

Конвэй немного подумал и сказал:

— Кстати, когда, по вашему мнению, я увижу его снова?

— Несомненно, это произойдет в конце первого пятилетнего срока, мой дорогой сэр.

Но в этом своем доверительно высказанном пророчестве Чанг ошибся. Не прошло и месяца, как Конвэй получил приглашение в разогретую верхнюю комнату. Чанг сообщил ему, что Верховный Лама никогда не покидает свои апартаменты, а разогретый воздух необходим для его телесного существования. Конвэй, подготовленный таким образом, нашел, что атмосфера там не так тяжела, как ему показалось в первый раз. Вплоть до того, что дышать ему стало легко, едва только он отдал поклон и в ответ был удостоен едва приметного оживления потухших глаз. За ними он уловил родственную душу. И хотя он знал, что второе приглашение, последовавшее так скоро после первого, являлось необыкновенной честью, он не испытывал никаких волнений и не был подавлен торжественностью события. Возраст, как и чин, и цвет кожи, не имел в его глазах решающего значения. Если человек слишком молод или слишком стар, это никогда не становилось

препятствием для его симпатий. Верховный Лама вызывал у него самое искреннее уважение, но он не видел причин, почему их отношения могли строиться не иначе, как на основах светской вежливости.

Они обменялись обычными любезностями, и Конвэй ответил на много вежливо заданных ему вопросов. Он поведал, что ведет приятную жизнь и уже нашел себе друзей.

— И вы не посвятили своих спутников в наши секреты?

— Нет, пока нет. Иногда это ставило меня в несколько неловкое положение, но не исключено, что в противном случае неловкостей было бы еще больше.

— Я так и предполагал. Вы поступили наилучшим образом. Ну, а неловкости — дело временное. Чанг говорит, что с двоими из них проблем у нас не будет.

— Пожалуй, так.

— А как насчет третьего?

— Мэлинсон, — ответил Конвэй, — легковозбудимый юноша, и он очень рвется домой.

— Он вам нравится?

— Да, он мне очень нравится.

В этот момент слуга внес чашки с чаем, и, потягивая пахучую жидкость, они повели беседу не столь серьезно. Это был удобный обычай, позволявший словам изливаться легко и непринужденно. И Конвэй охотно откликался на эту возможность. Когда Верховный Лама спросил, приходилось ли ему когда-либо в жизни сталкиваться с чем-либо подобным Шангри-ла и способен ли западный мир предложить что-нибудь, хотя бы

отдаленно напоминающее эту обитель, он с улыбкой отвечал:

— Что ж, пожалуй, да. Откровенно говоря, мне это слегка напоминает Оксфорд, где я читал лекции. Пейзажи там не столь хороши, но ученые занятия нередко так же лишены практического смысла. А что касается преподавателей, то, хотя старейший среди них по здешним меркам не так уж стар, все же годы свои они, по видимости, набирают, отдаваясь такому же времяпрепровождению.

— У вас есть чувство юмора, мой дорогой Конвэй, — ответил на это Верховный Лама. — За что и предстоит вам пользоваться нашей признательностью в грядущие годы.

Глава десятая

— Невероятно, — сказал Чанг, услышав о второй встрече Конвэя и Верховного Ламы.

И то, что эта фраза прозвучала из уст человека, не склонного произносить громкие слова, само по себе говорило о многом. Он особо подчеркнул, будто такого не случалось никогда прежде, с тех пор как существует принятый в монастыре порядок. Никогда еще Верховный Лама не назначал повторной встречи до истечения пятилетнего испытательного срока, достаточного, как считалось, чтобы новопришелец очистился от всех возможных страстей.

— Поскольку, вы должны это понять, разговор с обычным человеком из числа недавно попавших сюда требует от него огромного напряжения. Иметь дело с человеческими переживаниями нежелательно, неприятно, а в его возрасте просто невыносимо. Но я не подвергаю сомнению его мудрость. Нам, я полагаю, преподан очень ценный урок. Насчет того, что даже твердо установленные правила нашей общины остаются лишь умеренно твердыми. Но все равно это невероятно.

Конвэю, разумеется, это казалось не более странным, чем все остальное, а после третьего и четвертого свиданий с Верховным Ламой он и вовсе перестал находить здесь что-либо необычное. Более того, в легкости, с какой они достигали взаимопонимания, выражалось некое предопределение. Получалось так, будто снимались все таившиеся в душе Конвэя страхи, и, уходя, он обретал полный покой. Порой у него возникало чувство, что он околдован искусным воздействием высшего разума. А потом, когда они сидели

над синими чайными чашками, мысль обретала вполне осязаемые — нежные, изящные — жизненные формы, и создавалось впечатление, что сложная теорема превращается в сонет.

В своих беседах они бесстрашно устремлялись в любые дали. Разворачивали целые философские споры. Внимательно рассматривали долгие отрезки человеческой истории и предлагали возможные их новые оценки. Конвэй это захватывало, но он сохранял критический настрой ума, и однажды, защищая свою точку зрения, Верховный Лама заметил:

— Сын мой, вы молоды годами, но я вижу, ваша мудрость соответствует зрелости пожилого человека. Судя по всему, ваш опыт вместил в себя нечто необычное.

Конвэй ответил с улыбкой:

— Только то необычное, что выпало на долю многих из моего поколения.

— Мне никогда прежде не приходилось встречаться с людьми, подобными вам.

Помолчав, Конвэй сказал:

— Ничего таинственного здесь нет. Те признаки старости, которые вы во мне замечаете, отражают сильные и преждевременно явившиеся переживания. За три года жизни, от девятнадцати до двадцати двух лет, я узнал больше всего, но обошлось мне это довольно дорого.

— Вы очень страдали на войне?

— Не совсем так. Возбуждение, готовность погибнуть, страх, бесшабашная удаль, а порой и

разрывающая душу злость — все это у меня было, как, впрочем, и у миллионов других. Напивался до потери сознания, убивал, развратничал напропалую. Это было надругательство над собственными чувствами. И кто прошел через это, если прошел, тот вынес с собой все подавляющий гнет тоски и недовольства. Вот что сделало трудными последующие годы. Не думайте, будто я хочу изобразить себя страдальцем. В целом мне как раз везло. Но это напоминает школу с плохим директором: вы можете иметь полно развлечений, но нервы вам треплют постоянно, и полного удовольствия не получите. Думаю, мне такое выпало ощутить в большей мере, чем большинству других людей.

— И стало быть, вы продолжали свое образование?

Конвэй пожал плечами:

— Возможно, что конец страстей есть начало мудрости, если вы простите мне эту попытку создать новую пословицу.

— Но, сын мой, ведь это доктрина Шангри-ла.

— Я знаю. И потому чувствую себя здесь как дома.

Он говорил сущую правду. Проходили дни и недели, и он испытывал эйфорию, в которой сливались его душа и тело. Как Перро, как Хеншель и другие, он поддавался под действие высшей силы. Голубая Луна забирала его, и увернуться казалось невозможным. Горы вокруг сверкали недоступной чистотой, и потом замороженный ими взгляд опускался в зеленые глубины долины. Это была ни с чем не сравнимая картина, а вместе со звуками клавесина, тихо перекатывавшимися через заросший лотосом пруд,

возникало впечатление, будто все это сплетается в совершенный узор из цвета и звука.

В нем поселилась, и он это знал, очень тихая любовь к маленькой маньчжурке. Его любовь ничего не требовала, ей не нужен был даже отклик. Она родилась в его уме, а чувства только придавали ей утонченность. Ло-Тсен была для него символом всего изящного и хрупкого. Изысканных прикосновений ее пальцев к клавишам было достаточно для ощущения интимности. Иногда он обращался к ней так, что, пожелай она, и их разговоры стали бы свободнее, очистились от светских условностей. Но в своих ответах она никогда не пересекала границу, сохранявшую уединение ее мыслей. А Конвэй в определенном смысле словно и не хотел, чтобы она пошла на это.

Неожиданно он разглядел одну из граней обещанного ему бриллианта. Он стал обладателем Времени. Времени для всего, что он хотел бы видеть свершившимся, осуществленным. Такого Времени, которое успокаивает всякое желание, так как предполагает обязательность его исполнения. Через год, через десять лет в его распоряжении будет то же Время. Он видел это все яснее, и радость наполняла его.

Но то и дело ему приходилось возвращаться к прежней жизни, встречаться с нетерпеливым Мэлинсоном, сердечным Барнардом, упорной и сосредоточенной мисс Бринклоу. Он считал, что будет рад, когда они узнают столько же, сколько и он. Подобно Чангу, он предполагал, будто с американцем и монахиней-миссионеркой никаких трудностей не возникнет. Приятное удивление вызвали у него как-то слова Барнарда:

— Знаете, Конвэй, мне иной раз кажется, не худо бы осесть в этом милом местечке. Поначалу я думал, что буду скучать без газет и кино, но привыкнуть можно, кажется, ко всему.

— Похоже на то, — согласился Конвэй.

Позже ему стало известно, что по просьбе Барнарда Чанг сводил его вниз, в долину, и дал ему возможность вкусить «ночной жизни» сообразно местным традициям. Мэлинсон же, услышав об этом, проникся негодованием.

— Видимо, приперло, — сказал он Конвэю. А самому Барнарду заявил: — Конечно, это не мое дело, но вам следовало бы держать себя в форме ввиду предстоящего путешествия. Вот так. Носильщики ожидаются через пару недель, и, насколько я понимаю, наш обратный путь не совсем будет похож на приятную прогулку.

Барнард невозмутимо поклонился.

— Насчет прогулки и в мыслях не держал, — произнес он. — А что до формы, так лучше я не чувствовал себя уже многие годы. Каждый день делаю зарядку. Никаких забот. А эти болтушки там внизу, в долине, не позволяют зайти слишком далеко. Умеренность, как вам известно, девиз этой фирмы.

— Да, не сомневаюсь, что вам удалось провести время умеренно хорошо, — съехидничал Мэлинсон.

— Само собой. Это заведение откликается на любые вкусы. Некоторым нравятся китаяночки, тренькающие на пианино, не так ли? И кто кого осудит за такие увлечения?

Конвэя это ни в малейшей мере не смутило, но Мэлинсон покраснел, как школьник.

— А других можно отправить за решетку, так как они увлекаются чужой собственностью, — резанул он.

— Можно, если их поймают, — дружелюбно усмехнулся американец. — И раз уж об этом заговорили, я вам, друзья, кое-что скажу не откладывая. Я решил пропустить этих носильщиков. Они приходят сюда довольно регулярно, и я дождусь их следующего появления, а то и еще дольше. Ну, разумеется, если монахи согласятся. Если поверят мне на слово, что я еще могу оплатить свой счет за отель.

— Вы хотите сказать, что не пойдете с нами?

— Так точно. Я решил немного подзадержаться. У вас все в порядке. Вас дома встретят с оркестром, а меня будет приветствовать только шеренга легавых. И чем больше я об этом думаю, тем яснее мне становится: это не совсем хорошо.

— Иными словами, у вас не хватает смелости выслушать, что играет музыка?

— Ну, в конце концов, я никогда не любил музыку.

Холодно, осуждающе Мэлинсон сказал:

— Думаю, это ваше личное дело. Никто не может помешать вам остаться здесь хоть на всю жизнь, если вы так настроены. — Тем не менее он оглянулся по сторонам, взывая о поддержке. — Не каждый осмелится сделать такой выбор, но взгляды могут быть разные. Что скажете вы, Конвэй?

— Согласен, что взгляды могут быть разными.

Мэлинсон обернулся к мисс Бринклоу, которая неожиданно отложила свою книгу и заявила:

— Я, коли на то пошло, тоже остаюсь.

— Что?! — воскликнули они все вместе.

Светясь улыбкой, которая, казалось, постоянно присутствует на ее лице, она продолжала:

— Видите ли, я думала о стечении обстоятельств, которые привели нас всех сюда, и могу сделать только один вывод. За сценой действует некая таинственная сила. Вы так не считаете, мистер Конвэй? — Конвэй, возможно, и затруднился бы с ответом, но мисс Бринклоу тут же заговорила с возрастающей поспешностью: — Кто я такая, чтобы сомневаться в указаниях провидения? Мне назначено было прибыть сюда, и я остаюсь.

— Хотите сказать, вы надеетесь основать здесь миссию? — спросил Мэлинсон.

— Не просто надеюсь, но определенно собираюсь это сделать. Я точно знаю, как вести дело со здешними людьми. Своего я добьюсь, не сомневайтесь. Ни в ком из них нет настоящей твердости.

— А вы намерены придать им эту твердость?

— Да, намерена, мистер Мэлинсон. Я решительно отвергаю эту идею умеренности, о которой нам здесь все время толкуют. Называйте это широтой взглядов, если вам нравится, но я считаю, что она ведет к худшим видам распущенности. Основная беда здешних людей именно в их широте взглядов, и я намерена бросить на борьбу с нею все мои силы.

— И благодаря своей широте взглядов они вам позволяют? — улыбаясь, спросил Конвэй.

— Можно сказать и по-другому: твердость ее взглядов такова, что они не сумеют

воспрепятствовать, — вставил Барнард. И добавил со смешком: — Ведь говорю же: это заведение потакает любым вкусам.

— Возможно, если у вас есть вкус к пребыванию в тюрьме, — отрезал Мэлинсон.

— Ну, даже и такой случай можно рассматривать с двух точек зрения. Бог мой, подумать только обо всех этих ребятах там, в большом мире, где они зажаты в объятиях рэкета и все готовы отдать, лишь бы выбраться в местечко, подобное этому, да никак не могут вырваться из своих оков! Кто же в тюрьме — мы или они?

— Утешительное рассуждение для обезьяны в клетке, — возразил Мэлинсон. Им все еще владела ярость.

Позднее Мэлинсон разговаривал с Конвэем наедине.

— Этот человек по-прежнему раздражает меня, — говорил он, прогуливаясь во внутреннем дворике. — И мне не жаль, что его не будет с нами на обратном пути. Может, вы считаете меня чересчур чувствительным, но эта подковырка насчет девушки-китаянки не показалась мне остроумной.

Конвэй взял Мэлинсона за руку. Он все яснее сознавал, что, несмотря на все капризные вспышки Мэлинсона, тот ему очень нравится, а последние недели, проведенные вместе, лишь прибавили тепла в его отношении к молодому человеку. Он сказал:

— Я думал, он хотел уколоть меня, а не тебя.

— Нет, это он про меня. Он знает, что она меня интересуется. Да, Конвэй. Я не знаю, почему она здесь и

нравится ли ей тут. Боже мой, если бы я, как вы, мог поговорить с ней на ее языке, я бы быстро все выяснил.

— Не уверен. Она, понимаешь ли, не очень-то склонна рассказывать о себе.

— Меня просто поражает, что вы не пристаёте к ней со всякого рода расспросами.

— Не уверен, что мне доставило бы удовольствие приставать к людям с расспросами.

Ему захотелось сказать больше. И вдруг он испытал острый приступ жалости. Этот юноша, такой порывистый, горячий, очень тяжело будет переживать, когда узнает истинное положение вещей.

— На твоём месте я бы оставил Ло-Тсен в покое, — заметил он. — Счастья ей хватает.

Решение Барнарда и мисс Бринклоу остаться, по мнению Конвэя, было к лучшему, хотя в результате они с Мэлинсоном оказались как бы в противостоящем лагере. Складывалась неожиданная ситуация, и он не представлял себе, как из нее выпутаться.

Хорошо, что видимой нужды в этом вовсе не было. До истечения двух месяцев не могло произойти ничего особенного. А потом предстояло пережить кризис, который не станет менее острым, как бы он к нему ни готовился. Поэтому, да и по другим причинам ему не хотелось беспокоиться по поводу неизбежного. Тем не менее как-то он сказал Чангу:

— Знаете, меня тревожит Мэлинсон. Боюсь, ему тяжело будет перенести, когда все откроется.

Чанг кивнул с некоторым сочувствием:

— Да, его нелегко будет убедить, что это во благо. Но трудности — это, в конце концов, дело временное. Через двадцать лет наш друг вполне успокоится.

Конвэй посчитал, что это, пожалуй, чересчур философский взгляд на вещи.

— Раздумываю, — произнес он, — как лучше преподнести ему правду. Он считает дни, оставшиеся до прибытия носильщиков, и если они не появятся...

— Но они обязательно придут.

— Вот как? А мне казалось, все ваши разговоры о носильщиках — это всего лишь милые сказки, чтобы облегчить нам восприятие действительности.

— Ни в коем случае. Мы в Шангри-ла придерживаемся умеренной правды, и смею вас уверить, все мои заявления насчет носильщиков почти соответствовали истине. По крайней мере мы ждем их примерно в те сроки, которые я называл.

— Тогда вам будет трудно удержать Мэлинсона, и он уйдет с ними.

— Мы и не станем пытаться. Он лишь удостоверится — и, конечно, на основе самостоятельного заключения, — что носильщики решительно не хотят и не могут взять с собой в обратный путь хотя бы одного человека.

— Понятно. Значит, это ваш способ? А на что рассчитываете потом?

— Потом, мой дорогой сэр, пережив крушение надежд, он, человек молодой, полный веры в лучшее, начнет уповать на то, что очередной отряд носильщиков,

ожидаемый через девять-десять месяцев, окажется более сговорчивым и откликнется на его просьбу. И мы, проявляя мудрость, поначалу поддержим в нем эту надежду.

— Не уверен, что он будет вести себя именно так, — резко сказал Конвэй. — Склонен думать, он скорее попытается сбежать, в одиночку.

— Сбежать? Разве это слово здесь подходит? В конце концов, перевал открыт для кого угодно и в любое время. У нас нет охранников, кроме тех, которые назначены природой.

Конвэй улыбнулся:

— Ну, надо признать, она-то постаралась на славу. И все же не думаю, что вы полагаетесь на нее при всех обстоятельствах. Как насчет попадавших сюда исследовательских экспедиций? И для них тоже перевал был открыт, когда они собирались уйти?

Теперь очередь улыбаться была за Чангом.

— Особые обстоятельства, мой дорогой сэръ, требовали иногда особого рассмотрения.

— Прекрасно. Значит, возможность побега вы предоставляете людям только тогда, когда знаете, что они будут выглядеть дураками, если ею воспользуются? И все же, я полагаю, некоторые идут на это.

— Ну, изредка это случалось, но, как правило, беглецы с радостью возвращаются после одной только ночи, проведенной на плато.

— Без всякого прикрытия от ветра, без нужной одежды? Если так, то ваши мягкие приемы не менее

действенны, по моему разумению, чем самые жесткие. Ну, а когда беглецы все-таки не возвращаются?

— Вы сами ответили на свой вопрос, — сказал Чанг. — Они не возвращаются. — И поспешил добавить: — Могу вас, однако, заверить, что действительно лишь немногие обрекли себя на это несчастье. И надеюсь, ваш друг не будет настолько опрометчивым, чтобы увеличить их число.

Конвэй не успокоился после этого разговора, и будущее Мэлинсона все еще занимало его. Ему хотелось, чтобы юноша получил возможность вернуться с согласия лам и это не стало бы беспримерным событием, как свидетельствовал недавний случай с Талу, летчиком. Чанг признавал, что хозяева монастыря имели полное право поступать так, как они полагали разумным.

— Но разве было бы с нашей стороны разумнее, мой дорогой сэр, поставить себя и свое будущее в полную зависимость от чувства благодарности, которое может испытывать ваш друг?

Конвэй внутренне согласился, что вопрос этот по делу, поскольку поведение Мэлинсона едва ли позволяло сомневаться насчет того, как он станет действовать сразу же по прибытии в Индию. Мэлинсон постоянно говорил об этом.

Но все это, конечно, относилось к мирской жизни Конвэя, заботы которой постепенно вытеснял из его сознания все проникающий дух Шангри-ла. Кроме мыслей о Мэлинсоне, ничто не нарушало его поразительного состояния полной удовлетворенности. Он все лучше узнавал новую среду своего существования и

не переставал удивляться, насколько же тонко все здесь было приспособлено к его запросам и вкусам.

Как-то он спросил Чанга:

— Между прочим, а как вы, обитатели этих мест, относитесь к любви? Ведь наверняка у людей, попадающих сюда, возникают нежные привязанности?

— Довольно часто, — отвечал Чанг с широкой улыбкой. — Ламы, разумеется, этому не подвержены, равно как и обитатели Шангри-ла, достигшие преклонного возраста. Но пока мы молоды, мы остаемся обыкновенными людьми, разве что ведем себя более разумно. И это, Конвэй, дает мне удобный случай заверить вас во всеохватывающем характере гостеприимства Шангри-ла. Ваш друг мистер Барнард уже этим воспользовался.

Конвэй улыбнулся в ответ.

— Не сомневаюсь в этом, — сухо сказал он. — Спасибо. Но сегодня у меня нет столь острых потребностей. И интересовался я скорее эмоциональной, а не физической стороной дела.

— Вы полагаете, будто легко отделить одно от другого? А может быть, вы начали влюбляться в Ло-Тсен?

Конвэй опешил, но надеялся, что ему удалось не показать виду.

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что, мой дорогой сэръ, с вашей стороны это было бы вполне оправданно — в пределах умеренности, конечно. Никакого страстного отклика от Ло-Тсен вы не дождетесь. И не надейтесь. Но вы можете рассчитывать на очень радостные переживания. Уверю

вас. И говорю это в известном смысле со знанием дела, поскольку сам пережил влюбленность в нее, когда был намного моложе.

— Иными словами, ответной любви не возникло?

— Можно считать и так, — сказал Чанг слегка назидательным тоном. — Она всегда следовала своему правилу — не допускать, чтобы ее поклонники испытали насыщение и их охватило чувство, которое приходит с достижением цели.

Конвэй рассмеялся:

— Все это очень мило, пока дело касается вас и, возможно, меня. Ну, а если появляется горячий молодой человек вроде Мэлинсона?

— Мой дорогой сэръ, если такое произойдет, лучшего и не придумать! Поверьте мне, Ло-Тсен не впервые утешила бы отчаявшегося изгнанника, осознавшего, что возврата не будет.

— Утешила бы?

— Я не случайно пользуюсь этим словом. Ло-Тсен не дарит никаких нежностей, если не считать того, что самим своим присутствием она ласкает разбитое сердце. Что говорит ваш Шекспир, например, о Клеопатре? «Она тем больше возбуждает голод, чем меньше заставляет голодать».^[28] Несомненно, подобные женщины часто встречаются там, где людьми управляет страсть. Но уверяю вас, в Шангри-ла для них не нашлось бы места. Если позволите переиначить эти знаменитые строки, я бы сказал, что Ло-Тсен гасит голод, когда менее всего

²⁸ Шекспир У., Антоний и Клеопатра, акт II, сцена 2. Перевод М. Донского.

насыщает. Это более тонкий процесс и сильнее результат.

— И кроме прочего, как я полагаю, она выполняет это с большим мастерством?

— О, безусловно. Это было многократно подтверждено на деле. Она умеет приглушать волны желания, превращая их в тихую нежность, которая доставляет удовольствие, даже когда на нее не откликаются.

— В таком случае вы могли бы, видимо, считать ее своего рода тренажером, частью оборудования монастыря?

— Это вы, если вам нравится, можете так смотреть на нее, — сказал Чанг с вежливым осуждением. — Но изящнее и правдивее было бы уподобить ее лучам солнца, играющим в гранях хрусталя, или каплям росы на цветущем плодовом дереве.

— Я полностью разделяю ваше мнение, Чанг. Это звучит гораздо изысканнее. — Конвэй испытывал наслаждение от сдержанных, но ловких ответов, которыми Чанг парировал его добродушные уколы.

Но, оказавшись в очередной раз наедине с маленькой маньчжуркой, он понял, что в словах Чанга было немало правды. От нее исходило благоухание, которое успокаивало его собственные чувства. Пламя уже не вырывалось из горящих углей, от них шло только тепло. И вдруг Конвэй почувствовал, что Шангри-ла и Ло-Тсен — это совершенство и он не желает большего, чем влиться в этот покой. Годами он чувствовал муку, словно его оголенные нервы рвал и трепал окружающий мир. Теперь наконец боль улеглась и он мог отдаться во

власть любви, свободной от бессмысленных терзаний и скуки. Иногда, проходя ночью мимо заросшего лотосом пруда, он представлял Ло-Тсен в своих объятиях, но ощущение бесконечности времени смывало эту картину и погружало его в беспредельный и полный неги покой.

Ему казалось, что никогда он не был так счастлив, даже в те довоенные годы. Ему нравилась строгость устоев Шангри-ла, этот мир, скорее спокойный, чем одержимый одной грандиозной идеей. Нравилось царившее здесь настроение, возникавшее благодаря тому, что чувства влияли на мысли, а мысли, облеченные в слова, источали радость.

Конвэй, на опыте усвоивший, что грубость не является свидетельством искренности, считал, будто красиво построенная фраза тем более не может служить доказательством лицемерия. Ему нравились царившие здесь вежливость и непринужденность, благодаря которым каждая беседа становилась событием, а не пустым времяпрепровождением. Нравилось сознавать, что на самых пустячных занятиях не лежит теперь проклятие напрасной траты времени и достойными обдумывания считаются самые незначительные мысли.

Шангри-ла всегда пребывала в покое, но, несмотря на это, в ней велась многообразная неспешная деятельность. Ламы жили так, будто и впрямь держали время в собственных руках и несли его вперед, легкое как перышко. Конвэй с ними больше не встречался, но постепенно составил себе представление об объеме и разносторонности их занятий. Помимо освоения языков, многие, судя по всему, погружались в такие глубины исследовательской работы, что это могло бы сильно потрясти западный мир. Многие создавали рукописные

трактаты по самым различным темам. Один лама, как рассказал Чанг, выполнил ценное исследование в области чистой математики. Другой стремился согласовать Гиббона и Шпенглера в рамках более широкого истолкования истории европейской цивилизации.

Но такого рода трудам предавались не все. И никто не посвящал себя им целиком. Существовало еще множество дел, которыми они занимались просто так, для развлечения. Иные, подобно Бриаку, восстанавливали обрывки забытых мелодий или, как бывший английский викарий, бились над новым истолкованием «Грозового перевала». Случалось, что в занятиях лам практического смысла было и того меньше. Однажды в ответ на замечание, оброненное Конвэем по этому поводу, Верховный Лама рассказал историю китайского художника, жившего в III веке до Рождества Христова. Многие годы трудился он, вырезая на граните изображения драконов, птиц и лошадей, и наконец предложил законченную работу наследному принцу. Поначалу принц посчитал, что перед ним всего-навсего камень, но художник уговорил его «построить стену, пробить в ней окно и взглянуть на этот камень в сиянии утренней зари». Принц так и сделал и обнаружил, что камень действительно великолепен.

— Разве не очаровательная история, мой дорогой Конвэй? И не преподносит ли она очень ценный урок?

Конвэй согласился. Ему приятно было сознавать, что, понимая важность предназначения Шангри-ла, ее обитатели занимались любыми странными и на первый взгляд ненужными делами, к чему Конвэй и сам всегда был склонен. Более того, оглядываясь на свое прошлое,

он вспоминал о замыслах, которые тогда представлялись слишком ненадежными или чересчур трудными, чтобы можно было браться за их исполнение. А теперь все они осуществлялись без лени. Конвэй сознавал это с наслаждением и не посмеялся над Барнардом, когда тот доверительно поведал, что предвидит для себя интересное будущее в Шангри-ла.

Складывалось впечатление, будто вылазки Барнарда в долину, со временем участившиеся, не были всецело связаны с вином и женщинами.

— Видите ли, Конвэй, вам уж я кое-что скажу, так как вы не Мэлинсон. Он вонзил в меня нож, вы, вероятно, это заметили. Вы, по-моему, лучше поймете, что к чему. Странное дело, но вы, британские чиновники, поначалу представляетесь такими дьявольски строгими и заносчивыми, а потом оказываетесь как раз теми ребятами, которым можно довериться до конца.

— Я бы не утверждал этого так безоговорочно, — улыбаясь, ответил Конвэй. — К тому же Мэлинсон такой же британский чиновник, как и я.

— Да, он еще просто мальчик. Он не умеет разумно смотреть на вещи. Мы с вами люди, знающие жизнь, видим вещи такими, каковы они на самом деле. Взять, скажем, вот это заведение, где мы находимся. Мы пока не можем понять, что тут к чему и как прилажено и за каким чертом нас сюда заткнули. Но стоит ли удивляться? Уж коль на то пошло, разве мы знаем, зачем мы вообще оказались на белом свете?

— Вероятно, иные из нас действительно этого не знают, но к чему вы ведете?

Барнард приглушил голос, доведя его до довольно хриплого шепота.

— Золото, приятель, — ответил он в некотором возбуждении. — Золото, и точка. Тонны, буквально тонны золота в долине. В юные годы я был горным инженером и еще не забыл, как выглядит жила. Поверьте мне, она не беднее, чем в Ранде^[29], а взять ее в десять раз легче. Вы думали, я просто прохладился, отправляясь вниз в этом кресле на носилках. Ничего подобного. Я знал, что делаю. Я все время прикидывал, и выходило, будто здешние ребята ни в жизнь не получили бы извне то, что им поставляют, если бы не платили отчаянно много. А чем платить, если не золотом, или серебром, или бриллиантами, или еще чем-нибудь в этом роде? Логично, а? И только я начал разнюхивать, как тут же раскрыл всю тайну фокусника.

— Раскрыли самостоятельно? — спросил Конвэй.

— Ну, не сказал бы. Но меня осенила догадка, и я напрямую, как мужчина мужчине, выложил все Чангу. И поверьте мне, Конвэй, этот китаёза не такой уж скверный малый, как нам могло показаться.

— Лично мне он отнюдь не казался скверным малым.

— Разумеется. Я знаю, вам он все время был по душе, вот вы и не удивляетесь тому, как мы поладили. У нас это и вправду славно получилось. Он провел меня по всем разработкам, и вам интересно будет узнать, что местные власти дали мне разрешение провести в долине изыскательские работы, любые, какие я сочту нужным, с

²⁹ Ранд (Витватерсранд) — богатейший и золотоносный район в Южной Африке.

тем, дабы представить потом всеобъемлющий отчет. Что вы на это скажете, Конвэй? Они вроде бы обрадовались воспользоваться услугами эксперта, особенно когда я сказал, что смогу посоветовать, как увеличить добычу.

— Вы, как погляжу, собираетесь обрести здесь родной дом, — сказал Конвэй.

— Ну, должен признать, я получил здесь работу, а это кое-что значит. И нельзя знать, как все обернется в конечном счете. Может, дома не захотят прятать меня в тюрьму, если выяснится, что я могу показать дорогу к новой золотой жиле. Одна только загвоздка: поверят ли мне на слово?

— Возможно, и поверят. Просто поразительно, чему только люди готовы поверить!

Барнард с чувством кивнул:

— Рад, что вы схватили суть, Конвэй. И это позволяет нам заключить сделку. Все у нас, конечно, пойдет пополам. А от вас потребуются всего лишь имя на моем отчете — британский консул и так далее. Это придаст весу.

Конвэй рассмеялся:

— Посмотрим. Сначала приготовьте отчет.

Забавы ради он поразмышлял о возможности столь маловероятного развития событий и одновременно порадовался, что у Барнарда нашлось занятие, способное послужить ему немедленным утешением.

Доволен этим был и Верховный Лама, которого Конвэй видел теперь все чаще и чаще. Он приходил к нему поздно вечером и оставался на многие часы, после

того как слуги убрали последнюю чашку чаю и уходили спать. Верховный Лама постоянно расспрашивал, как продвигаются дела у его спутников, об их самочувствии, а однажды особо поинтересовался, как протекала их жизнь до Шангри-ла.

Конвэй задумчиво произнес:

— Мэлинсон, наверное, мог бы по-своему преуспеть. Он полон энергии, честолюбив. Что касается двух других... — Он пожал плечами. — Им обоим удобнее остаться здесь, по крайней мере на время.

За зашторенным окном Конвэй уловил легкую вспышку света. Еще во внутреннем дворике по дороге в эту хорошо знакомую теперь комнату он слышал глухое бормотание грома. Сюда никакой звук не проникал, и сквозь тяжелую ткань шторы полыхающие молнии казались всего лишь бледными искрами.

— Да, — услышал Конвэй, — мы как могли постарались, чтобы они чувствовали себя как дома. Мисс Бринклоу хочет обратить нас в истинную веру, да и мистер Барнард тоже хочет нас обратить — в акционерное общество с ограниченной ответственностью. Безобидные проекты. Они помогут им приятно проводить время. Но вот ваш юный друг, которого не могут утешить ни золото, ни религия, как быть с ним?

— Да, с ним возникнет проблема.

— Боюсь, это будет ваша проблема.

— Почему моя?

Ответа не последовало, потому что в этот момент подали чашки с чаем, и с их появлением Верховный Лама

едва заметным движением иссохшей руки обозначил переключение на обычный церемониальный разговор за чаепитием.

— В это время года Каракал посылает нам грозы, — заметил он, поворачивая беседу согласно требованиям ритуала. — Люди Голубой Луны считают, будто это ярость демонов, свирепствующих на огромном пространстве по ту сторону перевала. В «запределье», как они выражаются. Вы, вероятно, знаете: этим словом они называют весь мир, лежащий за границами их прикрытой горами долины. Они, разумеется, понятия не имеют о таких странах, как Франция, Англия или даже Индия. Им кажется, что страшное высокогорное плато простирается в бесконечность, а ведь это почти соответствует действительности. Привыкшие к теплу и безветрию, они и мысли не допускают, будто у кого-нибудь может возникнуть желание покинуть долину. И более того, по их представлениям, все несчастные обитатели «запределья» только и мечтают попасть в долину. Вопрос в том, с какой стороны смотришь, не правда ли?

Конвэй вспомнил о таком же примерно замечании Барнарда и привел его дословно.

— Как это разумно! — отозвался Верховный Лама. — И он у нас первый американец, с чем нам поистине повезло.

Конвэй нашел занятным, что ламаистский монастырь считает для себя удачей заполучить человека, которого, сбиваясь с ног, разыскивает полиция дюжины стран. И он захотел было рассказать все об американце, но удержался, подумав: пусть уж Барнард сам поведает свою историю, когда придет время. Он произнес:

— Разумеется, он совершенно прав, и сегодня в мире полно людей, которые были бы весьма рады оказаться здесь.

— Их слишком много, мой дорогой Конвэй. А мы только маленькая спасательная шлюпка на волнах штормового моря. Мы можем взять на борт нескольких уцелевших в кораблекрушении. И если к нам ринутся все свалившиеся в воду, мы сами пойдём на дно... И сейчас давайте не будем об этом думать. Говорят, вы общаетесь с нашим замечательным Бриаком. Милейший мой соотечественник, хотя я и не разделяю его мнения о Шопене как о величайшем композиторе мира. Я, как вам известно, предпочитаю Моцарта...

Конвэй дождался, пока унесли чашки и слугу окончательно отпустили на ночь, и лишь после этого отважился напомнить о вопросе, который остался без ответа.

— Мы говорили о Мэлинсоне, и вы сказали, что это будет моя проблема. Почему же именно моя?

Верховный Лама очень просто сказал:

— Потому что, сын мой, я собираюсь умереть.

Заявление потрясло Конвэя, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Разговор продолжил сам Верховный Лама:

— Вы удивлены? Но ведь, друг мой, в конце концов, все мы смертны — даже в Шангри-ла. Не исключено, мне еще дано будет прожить несколько мгновений или даже, коль на то пошло, несколько лет. Я поведал вам простую вещь. Уже вижу конец — вот и все. Очень мило, что вы выглядите таким обеспокоенным, и я не стану притворяться, утверждая, будто перед лицом смерти,

даже в моем возрасте, я лишен всяких сожалений. На счастье, во мне осталось мало того, что могла бы забрать физическая смерть. Насчет остального, то тут все религии проявляют приятное единодушие в своем оптимизме. Меня ничто не тревожит, но в оставшиеся часы я должен привыкнуть к новому ощущению. Я должен осознать, что время у меня есть только на одно-единственное дело. Догадываетесь ли вы, о чем идет речь?

Конвэй молчал.

— Это касается вас, сын мой.

— Вы оказываете мне огромную честь.

— Я имел в виду гораздо больше.

Конвэй слегка кивнул, но ничего не сказал. И, немного выждав. Верховный Лама продолжил:

— Вы, наверное, знаете: частота наших встреч выходит за рамки здешних обычаев. Но наша традиция и состоит в том, чтобы никогда не быть рабами традиции. У нас нет железных, несокрушимых правил. Мы поступаем так, как считаем нужным, немного следуя примерам прошлого, но более руководствуясь той мудростью, которую имеем сегодня, и провидением, позволяющим нам заглядывать в будущее. Все это и вдохновляет меня на свершение последнего моего дела.

Конвэй по-прежнему молчал.

— Вам, сын мой, я вручаю судьбу Шангри-ла.

Напряженность наконец спала. И Конвэй почувствовал силу вежливого и доброжелательного убеждения. Эхо произнесенных слов замерло в тишине, и

Конвэй слышал лишь стук собственного сердца. И вот словно в том же ритме зазвучали слова:

— Я ждал вас, сын мой, очень долго. Я сидел в этой комнате и вглядывался в лица новопришельцев. Я всматривался в их глаза и вслушивался в их голоса. И всегда надеялся, что однажды найду вас. Мои коллеги старели и набирались мудрости, но вы, хотя и молоды, уже обладаете этой мудростью. Мой друг, задача, которую я вам завешаю, не потребует изнурительных усилий. Вериги, которые несут члены нашего ордена, только шелковые. Будьте мягким и терпеливым. Заботьтесь о том, что обогащает ум. Мудро и тихо ведите дела, не забывая о бушующей вокруг буре. Все это будет для вас легко и приятно, и вы, не сомневаюсь, найдете великое счастье.

Конвэй попытался ответить, но не мог, пока новая яркая вспышка молнии, скользнувшая бледным светом по шторе, не заставила его воскликнуть:

— Буря... вы говорили о буре...

— Да, сын мой, грядет такая буря, какой свет еще не видывал. Не защитит оружие, не помогут власти, ничего не подскажет наука. Она не уляжется, пока не будут растоптаны все цветы культуры и все человеческое не будет обращено в хаос. Я это предвидел, когда еще и не прозвучало имя Наполеона, а сейчас с каждым часом эта картина разворачивается передо мной все яснее. Скажите, разве я ошибаюсь?

— Нет, думаю, что вы можете оказаться правы. Крах, подобный этому, уже случался в прошлом, и после него наступила растянувшаяся на пять столетий мрачная эпоха Средневековья.

— Сравнение не совсем точное. Потому что та мрачная эпоха на самом деле была не такой уж мрачной — она вся расцвечена сверкающими огнями, а если бы Европа тогда действительно осталась совсем без света, он горел бы в других местах, буквально повсюду, от Китая до Перу, и огонь возможно было принести оттуда. Но грядущий мрак накроет сразу весь мир. Некуда будет бежать, негде укрыться, если не считать приютов, очень хорошо спрятанных или очень убогих, чтобы привлечь внимание. А Шангри-ла, надеемся, окажется и тем и другим. Летчик, который понесет смертельный груз, дабы обрушить его на большие города, пролетит мимо, а если случайно и заметит обитель, едва ли посчитает ее достойной его бомбы.

— И вы полагаете, будто все это произойдет при моей жизни?

— Я верю, что вы переживете эту бурю. И потом, в эпоху всеобщего развала, вы также будете жить, старея, набираясь мудрости и терпения. Вы сохраните аромат нашей истории и обогатите его своим умом. Вы будете встречать здесь чужестранцев и знакомить их с системой управления, которую создают возраст и мудрость. И может случиться, один из этих пришельцев станет вашим преемником, потом, когда вы будете очень-очень старым. Дальше мое видение теряет ясность, но смутно я различаю движение новой жизни, движение слабое, но вдохновляемое надеждой вернуть утраченные, отошедшие в легенду сокровища. А они будут храниться здесь, сын мой, здесь, в укрытой горами долине Голубой Луны, чудом сбереженные для нового Возрождения...

Речь оборвалась, и Конвэй увидел перед собой лицо, исполненное отрешенной и все покоряющей

красоты. Но сияние погасло, и осталась только маска, темная и мрачная, будто из сморщенного, старого дерева. Она не двигалась, глаза были закрыты. Некоторое время как во сне Конвэй всматривался в застывшее лицо старца, наконец, до его сознания дошло, что Верховный Лама мертв.

Конвэй ощутил необходимость оказаться в реальном мире. Иначе в возникшее положение невозможно было поверить. Повинуясь инстинкту, Конвэй взглянул на часы. Было пятнадцать минут пополуночи. Он пересек комнату, подошел к двери и вдруг сообразил, что понятия не имеет, к кому и как обратиться за помощью. Он знал: тибетцы отпущены на ночь, а где искать Чанга или кого-нибудь еще, ему было неизвестно. Он в нерешительности стоял на пороге темного коридора. За окном он видел чистое небо, хотя горы еще поблескивали серебром полыхавших молний. И тут, будто погружаясь в сон, он почувствовал себя хозяином Шангри-ла. Со всех сторон его окружали милые ему вещи, и они создавали тот мир внутренней жизни, в который он уходил все дальше и дальше покидая обычную суету земного существования. Его взгляд скользнул по шторам. Он вглядывался во тьму и видел блеск крошечных золотых заклепок на обильных волнах лака, покрывавшего мебель. Аромат туберозы, тончайший, готовый вот-вот исчезнуть, вел его за собой из комнаты в комнаты. Так он спустился во внутренний дворик и вышел к пруду. Над Каракалом плыла полная луна. Было двадцать минут второго.

А потом Конвэй заметил рядом с собой Мэлинсона, который держал его за руку и поспешно уводил прочь.

Он никак не мог сообразить, что, собственно, происходит, и слышал только возбужденный голос юноши.

Глава одиннадцатая

Они поднялись в комнату с балконом, обычно служившую им столовой. Мэлинсон все еще сжимал его руку и почти насильно тащил за собой.

— Ну же, Конвэй, до рассвета мы должны собраться — и прочь отсюда! Колоссальная новость, дружище! Хотел бы я знать, что подумают утром старик Барнард и мисс Бринклоу, когда обнаружат наше отсутствие... Но ведь они сами решили остаться, а нам без них, может быть, и лучше... Носильщики в пяти милях за перевалом. Они прибыли вчера с грузом книг и всего такого прочего. Завтра трогаются в обратный путь... Теперь ясно, как эти здешние людишки хотели нас облапошить. Просто ничего нам не говорили. Этак мы проторчали бы еще бог знает как долго... Послушайте, в чем дело? Вы заболели?

Конвэй опустил в кресло, наклонился вперед и положил локти на стол. Он провел рукой по глазам.

— Заболел? Нет, не думаю. Просто... да, видимо, устал.

— Наверное, это из-за грозы. Где вы пропадали все это время? Я прождал вас несколько часов.

— Я... я встречался с Верховным Ламой.

— А, с этим! Ну, слава Богу, в последний раз.

— Да, Мэлинсон, в последний раз.

В голосе Конвэя и в последовавшем затем его молчании Мэлинсон уловил нечто такое, из-за чего пришел в ярость.

— Ладно, хорошо бы вы преодолели эту чертову заторможенность. Нам, знаете ли, надо изрядно пошевелиться.

Конвэй сосредоточился, стараясь обрести ясность сознания.

— Извини, — сказал он. Отчасти проверяя свою способность к самообладанию, отчасти же чтобы выяснить достоверность своих ощущений, он зажег сигарету. — Боюсь, я не совсем понимаю... Ты говоришь, носильщики...

— Да, носильщики, дружище. Возьмите себя в руки.

— Ты думаешь, надо пойти к ним?

— Думаю? Да чего тут думать, они всего в пяти милях за перевалом. И мы должны уходить сейчас же.

— Сейчас же?

— Да, да. Что мешает?

Конвэй еще раз попытался вернуться в реальный мир. Наконец он сказал:

— Надеюсь, ты понимаешь, что это не так просто, как кажется на первый взгляд?

Мэлинсон зашнуровывал тибетские горные сапоги — высокие, до колен. Ответил он резко:

— Я все понимаю. Но мы должны это сделать. И сделаем, если повезет. И если поторопимся.

— Сомневаюсь...

— О небо! Конвэй, вам что, так трудно преодолеть свою робость? У вас вообще сохранилась хоть капля мужества?

Эти слова, прозвучавшие страстно и уничижительно, помогли Конвэю собраться с мыслями и силами.

— Сохранилась или нет — к делу не относится. Но если хочешь знать, как я смотрю на все это, слушай. Вопрос касается нескольких довольно важных мелочей. Предположим, ты сумеешь пройти перевал и добраться до носильщиков. Откуда ты знаешь, что они согласятся взять тебя с собой? Чем ты можешь склонить их к согласию? Тебе не приходило в голову, что они могут оказаться не такими сговорчивыми, как это тебе кажется? Не можешь же ты всего-навсего представиться и потребовать себе свиту. Все это не проходит без подготовки, без предварительной договоренности...

— Лишь бы задержаться! — с горечью воскликнул Мэлинсон. — Боже, что вы за человек! К счастью, я могу действовать и независимо от вас. Поэтому-то все уже подготовлено. Носильщики получили плату заранее. И они согласились взять нас с собой. И вот она, одежда, вот снаряжение для этого путешествия. Все готово. Так что ваш последний предлог отпадает. Ну, давайте, двигайтесь.

— Но... Я не понимаю...

— А я и не рассчитываю, что понимаете. Но это не имеет значения.

— Кто же все это устраивал?

Мэлинсон ответил грубым тоном:

— Ло-Тсен, если уж вам непременно надо знать. Сейчас она там, вместе с носильщиками. И ждет.

— Ждет?

— Да, она уходит с нами. Полагаю, у вас нет возражений?

При упоминании о Ло-Тсен оба мира перемешались в сознании Конвэя. Резко, почти с негодованием, он воскликнул:

— Ерунда! Это невозможно.

Мэлинсон тоже кипел злостью.

— Почему невозможно?

— Потому что... Ну, просто невозможно. По разным причинам. Поверь мне, это не пройдет. Меня поражает твой рассказ об уже случившемся. Но чтобы Ло-Тсен двинулась еще дальше, сама мысль об этом нелепа.

— Не вижу тут ничего нелепого. Желание выбраться отсюда столь же естественно в ее случае, как и в моем.

— Но она не хочет выбираться отсюда. Вот где твоя ошибка.

Мэлинсон выдавил из себя улыбку.

— Вы, кажется, думаете, будто знаете о ней гораздо больше, чем я, — проговорил он. — Но может быть, это вовсе не так.

— Что ты хочешь сказать?

— Что не обязательно выучивать кучу языков. Есть и другие способы добиться взаимопонимания между людьми.

— Ради всего святого, куда ты клонишь? — воскликнул Конвэй и уже спокойнее продолжал: — Это

глупо. Оставим пререкания. Давай, Мэлинсон, выкладывай. Я все еще ничего не понимаю.

— А чего же тогда вы разводите столько шума?

— Скажи мне правду. Пожалуйста, правду.

— Ладно, все достаточно просто. Юное создание, девочка в заточении среди скопища чокнутых старцев — естественно, она убежит при первой возможности. А до сих пор такой возможности не было.

— А ты не допускаешь, будто это только твоя выдумка? Что ты приписываешь ей свои собственные настроения? Ведь я же тебе говорил: она здесь вполне счастлива.

— А почему же она согласилась пойти с нами?

— Каким же образом? Она не говорит по-английски.

— Я спросил ее по-тибетски. Мисс Бринклоу подобрала нужные слова. Разговор у нас был не очень бойкий, но поняли мы друг друга достаточно хорошо. — Мэлинсон слегка покраснел. — Проклятие, Конвэй, не смотрите на меня так, а то можно подумать, будто я покушаюсь на ваши владения.

В ответ Конвэй сказал:

— Никто, надеюсь, так не подумает. Но этими словами ты сказал мне больше, чем хотел. Могу только добавить, что мне очень жаль.

— А о чем, черт возьми, вам надо сожалеть?

Конвэй разжал пальцы и дал сигарете упасть в пепельницу. Он чувствовал себя усталым, полным тревог и противоречивых нежных чувств, которые, будь его воля, лучше бы не поднимались. Он сказал мягко:

— Я не хочу этих постоянных распрей между нами. Ло-Тсен очаровательна, я знаю, но почему мы должны пререкаться по этому поводу?

— Очаровательна? — с горечью повторил Мэлинсон. — Много больше, чем очаровательна. Вам не следует думать, будто в этих делах все такие же хладнокровные, как и вы. Восхищаться ею, словно изящной вещицей, выставленной в музее, — вот, кажется, ваше представление о том, чего она заслуживает. Но моя точка зрения практичнее, и если я вижу, что человек, который мне нравится, попал в беду, я стараюсь хоть как-то помочь.

— Но разве ты не излишне запальчив? Куда, по-твоему, она направится, если покинет это место?

— Наверное, у нее есть друзья в Китае или еще где-нибудь. Во всяком случае, там ей будет лучше, чем здесь.

— Как ты можешь быть настолько уверенным в этом?

— Ну, я сам постараюсь окружить ее вниманием, если этого не сделает кто другой. В конце концов, когда вы спасаете людей, вытаскивая их из какой-нибудь дьявольской трясины, вы же не спрашиваете, есть ли у них место, куда податься.

— А Шангри-ла, по-твоему, — дьявольская трясина?

— Разумеется. Здесь царят мрак и зло. Все этим было пропитано с самого начала. И то, как нас сюда затащили, беспричинно, с помощью безумца. И то, как потом удерживали, выставляя то один предлог, то

другой. Но для меня самое страшное — то, как Шангри-ла воздействовала на вас.

— На меня?

— Да, на вас. Вы просто спокойно бродили вокруг, будто для вас ничего не имеет значения, с готовностью остаться здесь навсегда. Вы ведь даже говорили, будто вам здесь нравится... Конвэй, что с вами случилось? Неужели вы не можете вернуться к себе настоящему? Мы так хорошо действовали вместе в Баскуле. Тогда вы были совсем другим.

— Дорогой мой мальчик! — Конвэй протянул Мэлинсону руку, и тот с чувством, горячо пожал ее.

Мэлинсон продолжал:

— Не думаю, что вы это понимаете, но мне было ужасно одиноко в последние недели. Всем, казалось, на все наплевать, даже на самое важное. У Барнарда и мисс Бринклоу имелись своего рода извиняющие обстоятельства. Но поистине страшно было обнаружить, что и вы против меня.

— Сожалею.

— Вы это все время повторяете, но что толку?

В неожиданном порыве Конвэй произнес:

— Тогда давай я тебе кое-что расскажу. Может быть, толк появится. Выслушав меня, ты, надеюсь, поймешь многое, кажущееся сейчас странным и необъяснимым. Во всяком случае, поймешь, почему Ло-Тсен просто не может уйти отсюда с тобой.

— Не думаю, чтобы нашлись доводы, способные переубедить меня на сей счет. И давайте как можно короче. Нам нельзя терять время.

Конвэй сжато, как только мог, пересказал всю услышанную от Верховного Ламы историю Шангри-ла.

Совсем не собирался он этого делать. Но теперь почувствовал, что иначе нельзя. Обстоятельства требовали поступить таким образом. Мэлинсон и впрямь — именно его проблема, и он должен был решать ее по своему усмотрению. Говорил он быстро и легко. И по мере того, как рассказ продвигался, Конвэй снова начал ощущать, что попадает во власть удивительного вневременного мира. Красота этого мира захватывала его, и несколько раз у него возникало чувство, будто он не говорит, а читает страницы своей памяти, настолько четкими были мысли и чеканными фразы. Лишь об одном он умолчал, но только потому, что не хотел поддаться чувству, с которым еще не совладал. Он не сказал о кончине Верховного Ламы и о том, что сам стал в эту ночь его преемником.

Завершая рассказ, он почувствовал спокойствие. Он радовался, что преодолел этот рубеж, признавал невозможность иного решения. Замолкнув, он тихо поднял глаза, уверенный в правильности своего поступка.

Но Мэлинсон лишь постукивал пальцем по столу и после долгой паузы произнес:

— Право, Конвэй, не знаю, что и сказать... Вы, видимо, совсем лишились рассудка...

Надолго повисла тишина, и они сидели и смотрели друг на друга, окунувшись каждый в свое настроение.

Конвэй — замкнутый и разочарованный; Мэлинсон — взвинченный, раздраженно-беспокойный.

— Значит, ты полагаешь, будто я сошел с ума? — сказал наконец Конвэй.

Мэлинсон нервно засмеялся:

— Ну... я вполне, черт возьми, могу так думать после вашего рассказа. То есть... ну, в общем... такая бессмыслица... По-моему, тут нет предмета для обсуждения.

Конвэй взглянул на него и сказал голосом, полным удивления:

— Считаешь, бессмыслица?

— Ну а как я могу считать иначе? Извините, Конвэй, скажу довольно грубо, но какой же здравомыслящий человек способен поверить во всю эту белиберду?

— Значит, ты по-прежнему полагаешь, будто нас переправили сюда по чистой случайности, по милости некоего безумца, который тщательно подготовил угон самолета, и только для того, чтобы доставить себе удовольствие перелетом в тысячу миль?

Конвэй предложил сигарету, и Мэлинсон взял ее. Разговор прервался, и оба они, казалось, были этим довольны. Потом Мэлинсон сказал:

— Послушайте, нет смысла разбирать каждое отдельное событие. Дело в том, что по вашей теории здешние люди послали незнамо куда человека с поручением завлечь чужестранцев. И этот парень целенаправленно обучался профессии летчика и тянул время, пока не подвернулась подходящая машина, готовая к вылету из Баскула с четырьмя пассажирами...

Ну, не скажу, чтобы теоретически это было невозможно. Если взять этот эпизод сам по себе, о нем еще можно порассуждать. Но когда вы вставляете его в нагромождение таких вещей, которые уж абсолютно невозможны, — насчет лам, живущих столетиями, открытого ими эликсира молодости и чего-то там еще... Н-да, меня все это просто заставляет удивляться, какая муха вас укусила. И больше ничего.

Конвэй улыбнулся:

— Да, тебе в это трудно поверить. Поначалу вроде бы и я так думал, сейчас уж точно не помню. Конечно, история необычная, но, полагаю, ты согласишься, что и место это необычное. Подумай обо всем, что мы здесь увидели, мы оба, — о долине, заброшенной в неведомых горах, о монастыре с библиотекой, полной английских книг...

— О да, с центральным отоплением, современной канализацией, вечерним чаем и так далее. Действительно, все это просто чудесно.

— Хорошо, и что же ты отсюда выводешь?

— Признаться, почти ничего. Сплошная загадка. Но это еще не причина, чтобы верить сказкам о физически невозможном. Верить в горячую ванну, потому что вы сами в ней полоскались, — это одно. И совсем другое — верить в многовековой возраст стариков, голословно утверждающих, будто они прожили столетия. — Он опять рассмеялся и сказал с прежним беспокойным нетерпением: — Слушайте, Конвэй, это место вывело вас из равновесия, что в общем-то неудивительно. Собирайте свои вещи. Давайте уходить. Мы закончим этот спор

через пару месяцев после славного ужина в ресторане «Мэйдн».

Конвэй спокойно возразил:

— У меня нет ни малейшего желания возвращаться к той жизни.

— Какой жизни?

— Той, о которой ты думаешь... Ужины... Танцы... Поло... Ко всему этому.

— Но я слова не говорил о танцах и поло! Впрочем, чем они плохи? Вы хотите сказать, что не пойдете со мной? Вы собираетесь оставаться, как и те двое? Тогда по крайней мере не мешайте мне смыться отсюда! — Мэлинсон отшвырнул сигарету и прыжком метнулся к двери. Глаза его горели. — Вы безумны, Конвэй! — крикнул он. — Вы спятили! Я знаю, что вы всегда спокойны а я всегда кипячусь. Но я по крайней мере в здравом уме, а вы нет! Меня предупреждали, когда я собирался в Баскул. Я думал, они ошиблись, но теперь вижу, правильно предупреждали.

— О чем предупреждали?

— Они говорили, что вас потрянуло взрывом во время войны и с тех пор у вас появились странности. Я вас не упрекаю. Знаю, вы ничего не можете поделать. И Бог ведает, как противно мне это говорить... Ох, я пойду. Все это пугает, гнетет. Но я должен идти. Я дал слово.

— Ло-Тсен?

— Да, если хотите.

Конвэй встал и протянул руку.

— Прощай, Мэлинсон.

— Последний раз спрашиваю: вы идете?

— Не могу.

— Тогда прощайте.

Они пожали руки, и Мэлинсон ушел.

Конвэй остался в одиночестве. Его одолевали мысли, подсказанные врезавшимися в память словами. Что все прекрасное преходяще и подвержено гибели. Что два мира в конечном счете несовместимы. И что один из этих миров всегда висит на волоске. Проведя некоторое время в размышлениях, он посмотрел на часы. Было без десяти три.

Он все еще сидел за столом и курил, когда вновь появился Мэлинсон. Молодой человек вошел взволнованным и, увидев Конвэя, отступил назад в полумрак, желая сначала собраться с мыслями.

Немного выждав, Конвэй спросил:

— Ау, что случилось? Почему ты вернулся?

Очевидная естественность вопроса подтолкнула Мэлинсона выйти на свет. Он стянул с себя тяжелую накидку из овечьих шкур и сел. Лицо его было пепельно-серым, тело била крупная дрожь.

— Мне не хватило духу! — вскричал он, всхлипнув. — То место, где нас связывали веревками, помните? Туда я дошел... А дальше не смог. Я боюсь высоты. И при луне все так страшно. Глупо, да?

Он совсем расклеился и забился в истерике, пока Конвэй не помог ему прийти в себя.

Успокоившись, Мэлинсон сказал:

— Им, здешним людям, нечего бояться. Никто никогда не посягнет на них с суши. Но Боже, как много бы я дал за то, чтобы пролететь над ними с грузом бомб!

— Почему бы тебе этого хотелось, Мэлинсон?

— Так как это место следует уничтожить — что бы оно в себе ни таило. Оно нездоровое и нечистое. А значит, оно тем более заслуживает ненависти, если окажутся правдой все небылицы, которые вы мне тут плели. Умудренные старцы ползают здесь пауками, подкарауливая каждого, кто приблизится... Грязно... И вообще, кому хочется жить до такого возраста? А насчет вашего драгоценного Верховного Ламы, то если он хотя бы наполовину так стар, как вы говорите, значит, пришла пора, чтобы кто-нибудь положил конец его страданиям... Ох, Конвэй, почему вы не хотите уйти со мной? Мне противно молить вас о личной услуге. Но черт побери, я молод, и мы были такими хорошими друзьями. Неужели моя жизнь ничего не значит для вас перед ложью, исходящей от этих страшных людей? А Ло-Тсен? Она тоже молода, и для вас это тоже ничто?

— Ло-Тсен не молода, — сказал Конвэй.

Мэлинсон поднял глаза и залился истерическим смехом:

— Ах, конечно, не молода! Какая там молодость! На вид ей семнадцать, но вы сейчас расскажете, что она просто хорошо сохранилась в свои девяносто.

— Мэлинсон, она появилась здесь в 1884 году.

— Вы бредите, дружище.

— Ее красота, Мэлинсон, как и всякая красота в мире, отдана на милость тех, кто не умеет ее ценить. Она

нежное существо, которое может существовать лишь там, где хрупкие творения окружены любовью. Унеси его из долины и увидишь, что от него останется только далекое эхо.

Мэлинсон громко захохотал, будто откликаясь на собственные мысли, которые внушали ему уверенность.

— Этим меня не удивить. Именно здесь она остается только эхом, коль скоро она вообще может им быть. — И, помолчав, добавил: — Такой разговор ни к чему не приведет. Лучше отбросим поэтические упражнения и вернемся к действительности. Конвэй, я хочу вам помочь. Все это чистейшая чепуха, знаю, но готов поговорить о ней, если вам от этого станет хоть немного лучше. Допустим, то, что вы мне рассказали, находится в пределах возможного и действительно заслуживает внимания. Теперь скажите мне серьезно, какими доказательствами вы располагаете в подтверждение этой истории.

Конвэй молчал.

— Всего-то и случилось, что некто наплел вам всякого вздора. Даже от самого надежного человека, которого вы знаете всю жизнь, вы не приняли бы подобных утверждений без доказательств. А какие у вас тут доказательства? На мой взгляд, никаких. Разве Ло-Тсен рассказывала вам о себе?

— Нет, но...

— А почему же принимать на веру то, что говорят о ней другие? И все эти дела насчет долголетия — у вас есть хотя бы одно доказательство со стороны?

Конвэй немного подумал и сказал о неизвестных сочинениях Шопена, которые исполнял Бриак.

— Хорошо, мне это ничего не говорит, я не музыкант. Но даже если они подлинные, разве не могло быть так, что они попали ему в руки иным путем, не тем, который подтвердил бы правдивость его истории?

— Несомненно, могло бы.

— Теперь об этой существующей, по вашим словам, методе — о сохранении молодости и так далее. Что это? Вы говорите, некое лекарство. Ладно, я хочу знать, какое лекарство. Вы его хоть раз видели, пробовали? Кто-нибудь представлял вам точную информацию на этот счет?

— Подробности, признаюсь, мне не известны.

— А вы и не спрашивали о подробностях? Вам вообще не пришло в голову, что такого рода рассказы требуют подтверждений? — Конвэй не ответил, и Мэлинсон продолжал: — Что вы действительно знаете об этом месте? Вы поговорили с несколькими стариками — вот и все. Помимо этого, можно только сказать, что расположенное здесь заведение хорошо оборудовано и управляется с умом. Как и почему оно возникло, мы не имеем ни малейшего представления. И почему они хотят удержать нас здесь, если действительно хотят, тоже загадка. Но конечно же, все это не дает оснований принимать на веру легенду, которую нам подсовывают. В конце концов, дружище, вы же критически настроенная личность. Вы не поверите сказанному даже в английском монастыре. И право же, не понимаю, почему вы так легко проглатываете все на свете только из-за того, что это происходит в Тибете.

Конвэй кивнул. Погруженный в глубокие размышления, он не мог удержаться от одобрения четкости, с какой была высказана другая точка зрения.

— Ваше замечание справедливо, Мэлинсон. Правда, когда дело касается веры, не подкрепляемой весомыми доказательствами, все мы, кажется, склонны соглашаться с тем, что нам нравится.

— Но разрази меня гром, если я обрадуюсь, что доживу до такого возраста, когда я наполовину буду мертвецом. Лучше дайте мне жизнь короткую, да веселую. И весь этот треп насчет будущей войны — по-моему, жидковато. Кто может знать, когда грянет новая война и что она с собой принесет? Разве последняя война не посрамила всех пророков? — И, поскольку Конвэй молчал, он продолжил: — В любом случае я не верю, когда что-нибудь объявляют неизбежным. А если и бывает неизбежное, нечего бояться. Одному Богу известно, как бы я вел себя на войне. Скорее всего заледенел бы от страха. И все же лучше это, только бы не оказаться заживо похороненным здесь.

Конвэй улыбнулся:

— Мэлинсон, ты проявляешь выдающуюся способность ошибаться в оценке моей персоны. В Баскуле ты считал меня героем. Теперь думаешь, я трус. А на самом деле я ни то ни другое. Впрочем, это не имеет значения. Вернувшись в Индию, расскажи там, если тебе хочется, что я остался в тибетском монастыре, так как испугался еще одной войны. Причина вовсе не в этом. Но не сомневаюсь, что тебе поверят люди, уже признавшие меня чокнутым.

Мэлинсон с грустью отвечал:

— Знаете, глупый это разговор. Что бы ни случилось, я слова не произнесу против вас. Можете положиться. Я не понимаю вас? Допустим. Но... но... хотел бы понять. Очень хотел бы. Как я могу вам помочь, Конвэй? Что я должен сказать, сделать?

Последовало долгое молчание. Конвэй нарушил его, произнеся:

— У меня есть один вопрос. Если позволишь, очень личный.

— Да?

— Ты влюблен в Ло-Тсен?

Бледное лицо молодого человека тут же покрылось краской.

— Кажется, да. Знаю, вы скажете, будто это нелепо и бессмысленно. Да, вероятно, так и есть. Но ничего не могу поделать со своими чувствами.

— Я вовсе не думаю, что это нелепо.

Их жаркий спор постепенно превращался в спокойную беседу.

Конвэй признался:

— Я тоже ничего не могу поделать с моими чувствами. И так уж получается, что ты и эта девушка — самые дорогие для меня люди... Хотя тебе это может показаться странным. — Оборвав себя, он встал и прошелся по комнате. — Мы сказали все, что могли сказать, не так ли?

— Думаю, да. — Но неожиданно Мэлинсон вскричал: — Какая же все это чушь, будто она не молода! Гнусная и

страшная чушь! Вы ведь так не думаете, Конвэй! Это просто смешно. Какой в этом смысл?

— А у тебя есть подтверждения ее молодости?

Мэлинсон отвернулся растерянно.

— Я просто знаю... Может, я несколько уроню себя в ваших глазах... Но я действительно знаю. Боюсь, вы никогда по-настоящему не понимали ее, Конвэй. С виду она холодна, но такой ее сделала здешняя жизнь. Но внутри тепло осталось.

— В ожидании, когда будет разбита корка льда?

— Да... Можно сказать и так.

— И она, Мэлинсон, молода! Ты в этом уверен?

С нежностью в голосе Мэлинсон ответил:

— Боже, да, она еще совсем девочка. Мне было ужасно жаль ее, и нас, обоих, кажется, потянуло друг к другу. Не вижу, чего тут стыдиться. Более того, я считаю, что в подобном месте это даже достойно...

Конвэй вышел на балкон и любовался сверкающей вершиной Каракала. Высоко в небе плыла луна. Мечта рассыпалась, как рассыпается все прекрасное при соприкосновении с действительностью. Он понял, что все будущее человечества окажется просто пушинкой, если положить его на одну чашу весов, когда на другой будут молодость и любовь. И он знал: его душа живет в ее собственном мире, в крошечной Шангри-ла, и этот мир находится в опасности — нити его воображения путаются и рвутся, изящные мысленные картины рушатся, все вообще готово вот-вот развалиться. Чувство, которое он испытывал, лишь отчасти было похоже на горе. Его захлестывала

бескрайняя грусть. Он не мог решить, что произошло. То ли он пережил помутнение рассудка и теперь снова обретал способность трезво смотреть на мир. То ли, наоборот, только что он был в здравом уме и сознании, а сейчас впадал в безумие.

К Мэлинсону теперь обратился другой человек. Голос звучал резко, почти грубо. Лицо слегка искривилось. Он гораздо больше напоминал того Конвэя — героя Баскула. Собранный, готовый к действию, он взглянул на Мэлинсона и быстро сказал:

— Ты уверен, что одолеешь этот трюк с веревкой, если я буду рядом?

Мэлинсон подскочил.

— Конвэй! — воскликнул он, задыхаясь от волнения. — Вы, значит, идете? Вы наконец решились?

Конвэй собрался, и они с Мэлинсоном сразу покинули монастырь. Уйти оказалось поразительно легко — побег больше напоминал выход на прогулку. То попадая в лучи лунного света, то вновь погружаясь в темноту, спокойно прошли они через дворики, в которых, как показалось Конвэю, не было ни единой живой души. И мысль о пустоте тотчас же вызвала опустошение в нем самом. Он едва слушал Мэлинсона, который между тем, не умолкая, толковал о предстоящей дороге. Как печально, что их долгие споры завершились таким вот совместным поступком! Как печально, что эту таинственную обитель приходится покидать человеку, который обрел здесь счастье!

И часа не прошло, как они достигли места, откуда открывался последний вид на Шангри-ла. На изгибе

тропы они остановились перевести дух. Далеко внизу облаком лежала долина Голубой Луны. Конвэю казалось, будто крыши рассеянных в ней домов плывут в тумане, пытаюсь догнать его. Вот оно, теперь уж действительно прощание.

Мэлинсон, притихший было на крутом подъеме, шумно выдохнул:

— Все идет прекрасно, идемте дальше!

Конвэй улыбнулся, но не ответил. Он уже готовил веревку: тропа следовала по гребню сканы, в сущности, по лезвию ножа.

Да, прав Мэлинсон, Конвэй и впрямь решился уйти. Но прощание с Шангри-ла отдавалось в его сознании надвинувшейся пустотой, ощущением невыносимо тяжелой разлуки. Он становился странником, обреченным вечно перемещаться из одного мира в другой. Но сейчас Конвэю было ясно одно: он должен помочь Мэлинсону. Его судьба, как и судьба миллионов, повелевала ему бежать от мудрости, чтобы стать героем.

Над краем пропасти Мэлинсон занервничал, но, пустив в ход альпинистские приемы, Конвэй протащил его через опасное место. Когда пропасть осталась позади, Мэлинсон достал сигареты, и, прижавшись друг к другу, Конвэй и Мэлинсон закурили.

— Должен сказать, Конвэй, с вашей стороны это дьявольски замечательно... Вы, наверное, догадываетесь, как мне... Не могу даже сказать, как я рад.

— Я бы и не пытался искать слова.

После долгого молчания, перед тем как двинуться дальше, Мэлинсон добавил:

— Но я действительно рад. Не только за себя, а и за вас... Очень хорошо, что теперь вы поняли, какой сплошной чепухой были все эти рассказы... Просто замечательно снова видеть вас самим собой...

— Все не так, — ответил Конвэй с кривой ухмылкой, которая нужна была ему для собственного утешения.

К рассвету они пересекли гряду. Стража, если таковая существовала, никак им не мешала. Впрочем, подумал Конвэй, в духе монастыря было умеренно охранять подступы к нему. Наконец они вышли на плато, выметенное, обглоданное ревущими ветрами. Пройдя пологий спуск, они увидели лагерь носильщиков. Все оказалось так, как говорил Мэлинсон. Их ждали крепкие ребята, укутанные в меха и овечьи шкуры. Они прижимались к земле под порывами буйствующего ветра. И они рвались в дорогу, которая должна была привести в Дацъенфу^[30], на границу Китая. И для этого требовалось пройти тысячу сто миль к востоку.

— Он идет с нами! — взволнованно закричал Мэлинсон Ло-Тсен, представшей перед ними. Молодой человек забыл, что она не понимает по-английски. Конвэй перевел фразу. Никогда еще он не видел маленькую маньчжурку такой сияющей. Она подарила Конвэю самую очаровательную улыбку, но не сводила с юноши глаз.

³⁰ Дацъенфа — выдуманный Хилтоном топоним.

Эпилог

Снова я увиделся с Разерфордом в Дели. Мы оба оказались гостями на ужине у вице-короля. Но сидели далеко друг от друга, и протокольные церемонии не давали возможности поговорить, пока наконец лакеи в тюрбанах не вручили нам на выходе наши шляпы.

— Пошли ко мне в отель, выпьем, — пригласил он.

По иссушенным, выжженным солнцем улицам такси переправило нас из погруженных в чиновную спячку правительственных кварталов в яркое, оживленное многоцветье Старого Дели. Из газет я знал, что Разерфорд только что вернулся из Кашгара. У некоторых людей бывает такая хорошо отработанная репутация, что все на свете оборачивается для них успехом в обществе. У Разерфорда любое его необычное путешествие, предпринимаемое ради отдыха и развлечения, становилось своего рода исследовательской экспедицией. И хотя сам исследователь старательно избегал каких бы то ни было настоящих открытий, публика думала по-своему и из собственных поспешных впечатлений создала ему славу. Я, например, отнюдь не считал, что путешествие Разерфорда превратилось в некое эпохальное событие, как о нем писала пресса. Для тех, кто помнил об археологических находках Ауреля Стейна и Свена Хедина, паломничество к останкам городов Хотана^[31] выглядело вполне обычным делом. Мое достаточно близкое знакомство с Разерфордом

³¹ Хотан — город, оазис в западном Китае; в далеком прошлом важный пункт на Великом шелковом пути.

позволяло мне поехидничать по этому поводу. Он засмеялся.

— Да, но правда, если о ней рассказать, оказалась бы много интереснее, — сказал он загадочно.

Мы сидели в его номере и пили виски. Дождавшись подходящего, как мне показалось, момента, я отважился на попытку развязать ему язык.

— Стало быть, ты все-таки пустился на поиски Конвэя?

— Поиски — слишком громко сказано, — ответил он. — Бесплезно искать одного человека посреди страны размером в пол-Европы. Я лишь побывал в местах, где мог нечаянно наткнуться на него или услышать о нем. Последнее, как помнишь, известие было, что из Бангкока он отправляется на северо-запад. В предгорье он оставил кое-какие следы, и я сделал вывод, что скорее всего он держал путь к китайской границе, в места, удерживаемые тамошними племенами. Не думаю, чтобы он стремился попасть в Бирму. Там бы его ждала встреча с британскими властями. Ну, в любом случае уверенно можно сказать только, что он побывал на севере Сиама. Но я, разумеется, не собирался забираться так далеко.

— Ты подумал, не проще ли попытаться найти саму долину Голубой Луны?

— Ну что ж, я не исключал, что такая идея может оказаться разумной. Значит, ты заглянул в эту мою рукопись?

— Гораздо больше чем заглянул. Кстати, я бы ее вернул, но ты не оставил адреса.

Разерфорд кивнул.

— Хотел бы я знать, какое у тебя впечатление.

— Очень любопытно. При условии, конечно, что все это действительно основано на рассказе Конвэя.

— Торжественно тебя заверяю, так оно и есть. Ничего я не придумал. Даже моего собственного языка, стиля там меньше, чем ты мог бы предположить. У меня хорошая память, а Конвэй всегда был замечательным рассказчиком. И мы, не забудь, проговорили с ним почти круглые сутки.

— Да, как я уже сказал, это очень любопытно.

Он откинулся в кресле и улыбнулся:

— Если это все твои мысли, то продолжать беседу придется, чувствую, мне самому. Наверное, ты считаешь меня излишне доверчивым. Право же, не думаю, что это так. Легковерие наполняет жизнь ошибками, но чересчур трезвые люди обрекают себя на скучное существование. Конечно, рассказ Конвэя меня захватил, многое в нем взволновало. Я постарался сделать как можно больше заметок на будущее. И разумеется, надеялся на возможную новую встречу с самим Конвэем. — Он зажег сигару и продолжал: — А это предполагало множество путешествий. Мне, впрочем, они нравятся. Да и мои издатели не возражают время от времени получать рукопись, посвященную странствиям. Пришлось покрыть несколько тысяч миль. Баскул, Бангкок, Синьян, Кашгар — все это я объездил. И тайна лежит где-то внутри этого круга. Но территория, понимаешь ли, получается весьма обширная, и все мои расследования скользили только по ее краешку, коль на то пошло, только по краешку тайны. В общем, если тебе требуются непреложные факты,

связанные с приключениями Конвэя, то пока мне удалось точно узнать следующее: двадцатого мая он покинул Баскул и пятого октября появился в Синьяне. И последнее сведение: третьего февраля он исчез из Бангкока. Все остальное — вероятности, возможности, догадки, мифы, легенды, как там все это ни называй.

— Значит, в Тибете ты ничего не нашел?

— Мой дорогой друг, в Тибет я так и не попал. Люди из правительства и слышать об этом не хотят. Самое большее — они могут разрешить восхождение на Эверест. Но когда я сказал, что подумываю самостоятельно пробраться в Куньлунь, они поглядели на меня так, будто я предложил написать биографию Ганди. В общем-то дело они знали лучше, чем я. Шагать по Тибету — не то занятие, которому можно предаваться в одиночку. Тут нужна должным образом снаряженная экспедиция, да еще с участием тех, кто знает два-три слова на тамошнем языке. Помню, когда Конвэй рассказывал мне свою историю, я еще удивлялся, чего, мол, надо было разводить всю эту канитель с носильщиками. Почему нельзя было пуститься в путь самостоятельно? Теперь я понимаю почему. Люди из правительства были совершенно правы: никакие паспорта не перенесут меня через горы Куньлунь. Я ведь зашел так далеко, что смог полюбоваться ими. В один очень погожий день смотрел на них с расстояния миль в пятьдесят. Немногие европейцы могут похвастаться хотя бы этим.

— Разве они кажутся совсем неприступными?

— Выглядели они просто белым карнизом на горизонте — и все. В Яркенде и Кашгаре я расспрашивал о них каждого встречного. Но поразительно, как мало

удалось узнать. Думаю, это самые малоизученные горы в мире. Мне посчастливилось встретить путешественника-американца, который однажды пытался пересечь их, но не нашел перевала. Перевалы, сказал он, существуют, но очень высоко и на картах не обозначены. Я спросил, допускает ли он существование долины, подобной той, которую описал Конвэй. Он сказал, что возможности такой не исключает, но вероятность кажется ему очень малой, хотя бы по геологическим причинам. Тогда я спросил, не приходилось ли ему слышать о конусообразной горе, почти такой же высокой, как вершины Гималаев. И ответ его заставлял задуматься. По его словам, ходит легенда о такой горе, но сам он считает ее безосновательной. И добавил, что говорят даже о горах выше Эвереста, но сам он в это не верит. Сказал еще, будто сомневается, есть ли в Куньлуне хоть одна вершина, дотягивающая до двадцати пяти тысяч футов. Но признал, что должных обследований в этой местности никогда не было.

Тогда, поскольку он не раз бывал в этих местах, я стал расспрашивать его о тибетских монастырях. И он мне порассказал все то, о чем можно прочитать в книжках. Все это, уверял он, уродливые заведения, и монахи там обычно люди порочные и грязные. Я спросил, долго ли они живут, и он подтвердил, что долго, если не умирают от какой-нибудь поганой болезни. Тогда я ринулся напролом и любопытствовал, не доходили ли до его слуха легенды о необычайном долголетии лам. Он ответил, что разговоров об этом полно, слышишь на каждом шагу, но удостовериться невозможно. Показывают тебе, например, какое-нибудь отвратительное создание, замурованное в келье и пребывающее там якобы уже сто лет. С виду похоже, но

не потребуешь же свидетельство о рождении. Спросил я и о том, считает ли он, будто у них есть некие магические или медицинские средства для продления жизни или сохранения молодости. На это он сказал, что вроде бы они обладают множеством таких именно чудесных знаний и умений. Но он, дескать, подозревает: если заглянешь поглубже, то обнаружишь подобие индийского фокуса с веревкой — всегда это видят другие, только не ты. Однако он заметил, что ламы, судя по всему, облачают удивительной властью над собственными телами и он сам видел, как ламы сидели на берегу замерзшего озера, совершенно голые, на морозе и жестоком ветру, а их слуги делали проруби и потом укутывали простынями лам, окунувшихся в воду. Окунались они раз по десять и простыни высушивали собственными телами. Сила воли, преобразуемая в тепло, — так это понимать? Хотя, заключил он, едва ли такое объяснение чего-нибудь стоит.

Разерфорд подлил себе виски.

— Но, как признал мой американский друг, все это мало связано с долгожительством. Просто показывает, что ламы имеют вкус к суровой самодисциплине... Вот к чему мы пришли, и теперь ты, наверное, согласишься — в таком наперстке каши не сваришь.

Я ответил, что сведения, конечно, жидковаты, и поинтересовался, были ли американцу знакомы слова «Каракал» и «Шангри-ла».

— Не слышат ни того ни другого. Я спрашивал. Он также признался, что не питает к монастырям никакого почтения. И привел собственные слова, сказанные им какому-то человеку, с которым некогда разговорился в Тибете. Что, мол, всегда предпочитает по возможности

увернуться от посещения монастыря. Вот эти-то случайно попавшие в наш разговор слова и натолкнули меня на любопытную мысль. Я спросил, когда у него была эта встреча в Тибете. Давно, ответил он, еще до войны, году этак в одиннадцатом. Я насеял на него, выясняя подробности, и он рассказал, что помнил. В тот раз он путешествовал по заданию какого-то американского географического общества вместе с несколькими коллегами, носильщиками — ну, в общем, полноценная экспедиция. Где-то в предгорьях Куньлуня он и встретил этого человека, китайца, передвигавшегося в паланкине, который несли туземцы. Китаец заговорил на хорошем английском языке и настоятельно советовал посетить некий ламаистский монастырь где-то поблизости. Вызвался даже проводить туда. Американец сказал, что у них нет ни времени, ни охоты, — тем и кончилось. — Помолчав, Разерфорд продолжал: — Не стану утверждать, будто это очень богатые сведения. Когда человек пытается вспомнить некий мимолетный случай двадцатилетней давности, нельзя из его рассказа делать слишком большие выводы. Но пищу для занятных размышлений он дает.

— Да, хотя если бы хорошо снаряженная экспедиция приняла приглашение, не вижу, как бы их там могли задержать против их воли.

— Правильно. И возможно, это вовсе и не была Шангри-ла.

Мы посидели, подумали на эту тему. Но тут все тонуло в таком тумане, что подробнее ее обсуждать не стали. Я спросил, не удалось ли откопать что-нибудь новое в Баскуле.

— В Баскуле было глухо, а в Пешаваре того хуже. Никто ни о чем не ведал. Только уверенно подтвердили угон самолета. Но даже и об этом не очень хотели разговаривать. Эта история не составляет предмет их гордости.

— А самолет, о нем потом не было сведений?

— Ни звука. Ни о самолете, ни о четверых пассажирах. Я, однако, перепроверил и убедился, что машина способна была взять высоту, достаточную, чтобы пересечь хребет. Попытался я отыскать следы и этого самого Барнарда. И выяснилось, что за ним тянется такая таинственная история, и, пожалуй, это действительно Чалмерс Брайант. Не удивлюсь, если здесь все сойдется с рассказом Конвэя. В конце концов, исчезновение Брайанта в разгар поднятой вокруг него шумихи — дело поразительное.

— А пытался ли ты выяснить что-нибудь насчет угонщика?

— Пытался, но опять-таки уперся в стену. Летчик, которого этот парень вытолкнул из кабины, потом погиб. Эта ниточка в моем расследовании оборвалась. Я даже написал в Америку своему приятелю, который заправляет там летной школой. Спросил, были ли среди его учеников тибетцы. Ответ оказался и быстрым, и разочаровывающим. Он сообщил, что не различает тибетцев и китайцев. А китайцев у него в последние годы училось человек пятьдесят. Готовились драться с японцами. Видишь, и здесь мало информации. Но одно довольно странное открытие я сделал. Ради него не надо было даже покидать Лондон. В Йене в середине девятнадцатого века жил один немецкий профессор, который решил повидать мир и в 1887 году попал в

Тибет. Домой он так и не вернулся, и потом пошли разговоры, что он утонул, пытаюсь перейти вброд какую-то реку. Звали его Фридрих Майстер.

— Бог мой! Конвэй называет это имя!

— Да. Хотя не исключается просто совпадение. Да и мало что можно этим доказать, так как парень из Йены родился в 1845 году. Ничего особо волнительного.

— Но как необычайно, — сказал я.

— О да, весьма необычайно.

— Ну а другие? Разыскал кого-нибудь еще?

— Нет. Жаль, но мой список имен слишком короткий. Я нигде не обнаружил упоминаний об ученике Шопена по имени Бриак. Хотя, конечно, это не значит, что такого не было. Сейчас, задним числом я соображаю: Конвэй как-то не очень наполнял свой рассказ именами. Он нам назвал лишь нескольких из пятидесяти с лишним лам, которые, видимо, были тогда в монастыре. Между прочим, о Перро и Хеншеле тоже не удалось найти никаких сведений.

— А Мэлинсон? — спросил я. — Его судьбу ты пытался узнать? И девушка — эта китаяночка?

— Друг мой, ну конечно же, пытался. Загвоздка вот в чем. Из моей рукописи ты, наверное, понял, что рассказ Конвэя оборвался на том, как они уходят с носильщиками. А что потом? Он либо не хотел, либо не мог рассказать о произошедшем. Ну, допустим, позднее, будь время, рассказал бы. Мне кажется, случилась какая-то трагедия. Тяготы перехода должны быть совершенно ужасными. Да еще такие опасности, как нападения разбойников, предательство среди

носильщиков. Вероятно, мы никогда не узнаем, как там повернулось дело, но похоже, что Мэлинсон до Китая не добрался. Я, скажу тебе, искал следы, где и как только можно. Сначала пытался разузнать насчет книг и всякой утвари, которые крупными партиями уходили через тибетскую границу. Но всюду, например в Пекине, в Шанхае, я неизменно вытягивал пустой номер. Этого, разумеется, надо было ожидать, поскольку ламы, несомненно, позаботились, чтобы пути их снабжения оставались в тайне. Сунулся в Дацъенфу. Это замызганное местечко, своего рода базарный городишко на краю света. Дьявольски трудно добраться, в том числе и китайским кули, которые доставляют туда из Юньнани тюки с чаем для тибетцев. Сможешь прочитать об этом в моей новой книге, когда она выйдет. Европейцы нечасто забираются так далеко. Люди там оказались вполне любезными и доброжелательными, но о Конвэе, о его спутниках, о том, что они там появлялись, никто ничего не знал.

— Значит, остается необъяснимым, как сам Конвэй добрался до Синьяна?

— Единственно остается думать, что он добрался туда так же, как мог добрести куда угодно еще. Но в Синьяне мы снова попадаем в мир бесспорных фактов, а это кое-что. Монахини в миссионерской больнице действительно существуют, равно как случившееся — в жизни, не в воображении — глубокое волнение Сивекинга на пароходе, когда Конвэй играл якобы Шопена. — Разерфорд помолчал и задумчиво продолжал: — Поистине это похоже на взвешивание различных вероятностей, причем, должен заметить, чаши весов все время то резко взлетают, то стремительно опускаются. Конечно, не верить рассказу Конвэя — значит либо

сомневаться в его правдивости, либо ставить под вопрос его психическое здоровье. Только так, давай будем откровенными.

Он опять замолчал, как бы приглашая меня сообщить, что я думаю по этому поводу...

Я сказал:

— Как ты знаешь, после войны я его ни разу не видел. Но говорили, что война его очень сильно изменила.

На это Разерфорд ответил:

— Да, и перемены в нем произошли огромные. Это несомненно. Ты берешь, в сущности, еще мальчика, три года терзаешь его мощнейшими физическими и эмоциональными нагрузками и полагаешь, будто после этого в нем ничто не развалится на куски? Некоторые, наверное, скажут, что он выбрался без единой царапины. Однако царапины, шрамы были внутри его.

Мы немного поговорили о войне, о том, как она подействовала на разных людей, и потом Разерфорд вернулся к главной линии нашего разговора:

— Но есть еще одна вещь, которую я не могу обойти. И в известном смысле, может быть, самая удивительная из всех. Узнал я это, находясь у монахинь в Синьяне. Можешь догадаться, что старались они там ради меня изо всех сил. Но многого вспомнить уже не могли. Да еще и были поглощены работой: как раз навалилась эпидемия лихорадки. Один из вопросов, с которыми я приставал, касался первого появления Конвэя в больнице. Сам он пришел, один? Или его, больного, где-то нашли и доставили к монахиням? Кто? Никак они не могли припомнить. В конце концов, давно

это было. И вдруг, когда я уже готов был оставить свои надоедливые расспросы, одна монахиня бросила как бы невзначай: «Кажется, доктор говорил, что его привела женщина». Вот и все, что она могла мне сказать. А доктор в миссии уже не работал, и снова все повисало в воздухе.

Но я глубоко влез в эту историю и отнюдь не собирался опускать руки. Выяснилось, что доктор получил место в большой больнице в Шанхае. Я раздобыл его адрес и отправился с визитом. Дело случилось как раз после воздушного налета японцев, и картина там была мрачная. С этим доктором мы познакомились, еще когда я посещал Синьян первый раз, и теперь он был со мной очень любезен. Но выглядел страшно усталым. Да, «страшно» — то самое слово. Поверь мне, немецкие налеты на Лондон — мелочь по сравнению с тем, что японцы устраивали с китайскими кварталами Шанхая. О да, наконец сказал он, он помнит больного англичанина, случай с утратой памяти. А правда ли, спросил я, будто в больницу его доставила женщина? О да, конечно, женщина, китаянка. А может ли он вспомнить что-нибудь еще с нею связанное? Ничего, ответил он, разве что она сама страдала от лихорадки и скончалась почти сразу...

Тут нас прервали. Поступила группа раненых, и их размещали на носилках в коридоре. Палаты были переполнены. Я не собирался отнимать у врача много времени. Особенно когда грохот пушек напоминал, что работы ему предстоит немало. Когда он снова вышел ко мне, бодрый среди всего этого ужаса, я задал ему всего один, последний — и, полагаю, ты догадываешься

какой — вопрос. Насчет этой китайки: была ли она молодая?

Разерфорд мял свою сигару, как бы показывая, что рассказ взволновал его самого не меньше, чем должен был, по его представлениям, взволновать меня. Потом продолжил:

— Маленький доктор окинул меня очень серьезным взглядом и ответил на том забавном, усеченном английском языке, на котором говорят образованные китайцы: «О нет. Она была самая-самая старая, старше всех людей, каких я видел».

Мы долго сидели молча, а потом снова говорили о Конвэе, каким он мне запомнился, — полном мальчишеского задора и обаяния. Говорили о войне, которая его изменила, и о многих неразгаданных тайнах времени, возраста и души, и о маленькой маньчжурке, которая была «самой-самой старой», и о долине Голубой Луны с ее мечтой о предельном совершенстве.

— Как думаешь, найдет он ее? — спросил я.

Примечания

1

Темплхоф — аэропорт Берлина. — *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Баскул — одна из географических выдумок Хилтона; «подделка» под топонимику северо-западной Индии (ныне Пакистана) и Афганистана (ср. Кабул).

3

Африди — самоназвание пуштунского племени.

4

Граница — принятое среди британских колониальных чиновников обозначение территории Индии, прилегавшей к Афганистану.

5

Филипп Сидней (1554–1586) — писатель, воин, царедворец. Традиционно почитается как олицетворение рыцарства, элегантности, обаяния.

6

Синьян — город к северу от Ханькоу (современное название — Ухань); у Хилтона название выдуманного города, произвольно образованное «на китайский лад», нечаянно совпало с именем городка, действительно

существующего и расположенного очень далеко от места, где могли бы происходить описываемые события.

7

Бейллиол — один из старейших (основан в 1263 г.) и самых известных колледжей Оксфордского университета.

8

Сивекинг — выдуманный персонаж. У читателя 30-х годов возникала ассоциация со знаменитым тогда немецким пианистом Вальтером Гизекингом (1895–1956), который впервые обратил на себя внимание исполнением четырех баллад Шопена.

9

Wehmut, Weltschmerz — грусть, мировая скорбь (нем.).

10

Холихед — порт на острове у западного побережья Уэльса. Кингстон — название многих, в том числе портовых городов мира. Возможно, имеется в виду административный центр Ямайки.

11

Тертуллиан — христианский богослов и философ (II–III века н. э.), видевший смысл веры именно в том, что она не может быть обоснована разумом.

12

Чандапур — вымышленное государство. В тогдашней Индии были два населенных пункта под

названием Чандапур, но оба совсем не в тех краях, где разворачивается действие романа.

13

Мюррен — швейцарский зимний курорт, расположенный у подножия горы Юнгфрау.

14

Нанга Парбат — по-кашмирски «голая гора»; вершина в Западных Гималаях, 8125 м над уровнем моря.

15

Считается, что прообразом Конвэя послужил Хилтону английский альпинист Джордж Ли Мэллори, погибший в 1924 г. при восхождении на Эверест.

16

В 1170 году сторонники короля Генриха II Плантагенета убили в соборе архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, причисленного впоследствии к лику святых.

17

Веттерхорн — гора, возвышающаяся над курортным городком Гриндельвальд в Швейцарии.

18

Джордж Хенти (1832–1902) — знаменитый военный корреспондент, написавший десятки книг приключенческого жанра.

19

Шекспир У., Макбет, акт II, сцена 2. Перевод М. Лозинского.

20

Венген, Шайдегг — названия двух швейцарских городков, по соседству с которыми в 1924 г. впервые были устроены международные соревнования горнолыжников.

21

Эпоха Сун — время наивысшего расцвета китайской культуры. Императорская династия Сун правила в Китае с 960 по 1279 год.

22

Сикким, Балтистан — небольшие феодальные государства «под протекторатом Индии», расположенные в Гималаях на границе с Китаем.

23

Гордон, Чарлз Джордж (1833–1885) — ярчайшая фигура в истории британских колониальных войн и строительства империи. Погиб на посту губернатора Судана при захвате Хартума повстанцами под руководством Махди (1844–1885).

24

Битва при Мальплаке — крупнейшее сражение в войне за испанское наследство, состоявшееся 11 сентября 1709 г. близ селения Мальплаке (Бельгия).

25

Мальборо, Джон Черчилль (1650–1722) — английский политический деятель и полководец.

26

Семейство Бронте — имеются в виду три сестры-писательницы и их отец-пастор, жившие в деревне Хоуорт.

27

Корто, Альфред Дени (1877–1962) — выдающийся французский пианист, славившийся, в частности, исполнением произведений Шопена и Шумана. Пахман, Владимир (1848–1933) — пианист, уроженец Одессы; в его репертуаре произведения Шопена занимали видное место.

28

Шекспир У., Антоний и Клеопатра, акт II, сцена 2. Перевод М. Донского.

29

Ранд (Витватерсранд) — богатейший и золотоносный район в Южной Африке.

30

Дацьенфа — выдуманный Хилтоном топоним.

31

Хотан — город, оазис в западном Китае; в далеком прошлом важный пункт на Великом шелковом пути.